

Джером Сэлинджер Девять рассказов

Хорошо ловится рыбка-бананка

Перевод: Рита Райт-Ковалева

В гостинице жили девяносто семь нью-йоркцев, агентов по рекламе, и они так загрузили междугородный телефон, что молодой женщине из 507-го номера пришлось ждать полдня, почти до половины третьего, пока ее соединили. Но она не теряла времени зря. Она прочла статейку в женском журнальчике – карманный формат! – под заглавием «Секс – либо радость, либо – ад!». Она вывела пятнышко с юбки от бежевого костюма. Она переставила пуговку на готовой блузке. Она выщипнула два волосика, выросшие на родинке. И когда телефонистка наконец позвонила, она, сидя на диванчике у окна, уже кончала покрывать лаком ногти на левой руке.

Но она была не из тех, кто бросает дело из-за какого-то телефонного звонка. По ее виду можно было подумать, что телефон так и звонил без перерыва с того дня, как она стала взрослой.

Телефон звонил, а она наносила маленькой кисточкой лак на ноготь мизинца, тщательно обводя лунку. Потом завинтила крышку на бутылочке с лаком и, встав, помахала в воздухе левой, еще не просохшей рукой. Другой, уже просохшей, она взяла переполненную пепельницу с диванчика и перешла с ней к ночному столику – телефон стоял там. Сев на край широкой, уже оправленной кровати, она после пятого или шестого сигнала подняла телефонную трубку.

– Алло, – сказала она, держа поодаль растопыренные пальчики левой руки и стараясь не касаться ими белого шелкового халатика, – на ней больше ничего, кроме туфель, не было – кольца лежали в ванной.

– Даю Нью-Йорк, миссис Гласс, – сказала телефонистка.

– Хорошо, спасибо, – сказала молодая женщина и поставила пепельницу на ночной столик.

Послышался женский голос:

– Мюриель? Это ты?

Молодая особа отвела трубку от уха:

– Да, мама. Здравствуй, как вы все поживаете?

– Безумно за тебя волнуюсь. Почему не звонила? Как ты, Мюриель?

– Я тебе пробовала звонить и вчера, и позавчера вечером. Но телефон тут...

– Ну, как ты, Мюриель?

Мюриель еще немного отодвинула трубку от уха:

– Чудесно. Только жара ужасающая. Такой жары во Флориде не было уже...

– Почему ты не звонила? Я волновалась, как...

– Мамочка, милая, не кричи на меня, я великолепно тебя слышу. Я пыталась дозвониться два раза. И сразу после...

– Я уже говорила папе вчера, что ты, наверно, будешь вечером звонить. Нет, он все равно... Скажи, как ты, Мюриель? Только правду!

– Да все чудесно. Перестань спрашивать одно и то же...

– Когда вы приехали?

– Не помню. В среду утром, что ли.

– Кто вел машину?

– Он сам, – ответила дочь. – Только не ахай. Он правил осторожно. Я просто удивилась.

– Он сам правил? Но, Мюриель, ты мне дала честное слово...

– Мама, я же тебе сказала, – перебила дочь, – он правил очень осторожно. Кстати, не больше пятидесяти в час, ни разу...

– А он не фокусничал – ну, помнишь, как тогда, с деревьями?

– Мамочка, я же тебе говорю – он правил очень осторожно. Перестань, пожалуйста. Я его просила держаться посреди дороги, и он послушался, он меня понял. Он даже старался не смотреть на деревья, видно было, как он старается. Кстати, папа уже отдал ту машину в ремонт?

- Нет еще. Запросили четыреста долларов за одну только...
- Но, мамочка, Симор обещал папе, что он сам заплатит. Не понимаю, чего ты...
- Посмотрим, посмотрим. А как он себя вел в машине и вообще?
- Хорошо! – сказала дочь.
- Он тебя не называл этой ужасной кличкой?..
- Нет. Он меня зовет по-новому.
- Как?
- Да не все ли равно, мама!
- Мюриель, мне необходимо знать. Папа говорил...
- Ну ладно, ладно! Он меня называет «Святой бродяжкой выпуска 1948 года», – сказала дочка и засмеялась.
- Ничего тут нет смешного, Мюриель. Абсолютно не смешно. Это ужасно. Нет, это просто очень грустно. Когда подумаешь, как мы...
- Мама, – прервала ее дочь, – погоди, послушай. Помнишь ту книжку, он ее прислал мне из Германии? Помнишь, какие-то немецкие стихи? Куда я ее девала? Ломаю голову и не могу...
- Она у тебя.
- Ты уверена?
- Конечно. То есть она у меня. У Фредди в комнате. Ты ее тут оставила, а места в шкафу...
- В чем дело? Она ему нужна?
- Нет. Но он про нее спрашивал по дороге сюда. Все допытывался – читала я ее или нет.
- Но книга *немецкая*!
- Да, мамочка. А ему все равно, – сказала дочь и закинула ногу на ногу. – Он говорит, что стихи написал единственный великий поэт нашего века. Он сказал: надо было мне хотя бы достать перевод. Или выучить немецкий – вот, пожалуйста!
- Ужас. Ужас! Нет, это так грустно... Папа вчера говорил...
- Одну секунду, мамочка! – сказала дочь. Она пошла к окну – взять сигареты с диванчика, закурила и снова села на кровать. – Мама? – сказала она, выпуская дым.
- Мюриель, выслушай меня внимательно.
- Слушаю.
- Папа говорил с доктором Сиветским...
- Ну? – сказала дочь.
- Он все ему рассказал. По крайней мере, так он мне говорит, но ты знаешь папу. И про деревня. И про историю с окошком. И про то, что он сказал бабушке, когда она обсуждала, как ее надо будет хоронить, и что он сделал с этими чудными цветными открыточками, помнишь, Бермудские острова, словом, про все.
- Ну? – сказала дочь.
- Ну и вот. Во-первых, он сказал – сущее преступление, что военные врачи выпустили его из госпиталя, честное слово! Он определенно сказал папе, что не исключено, никак не исключено, что Симор совершенно может потерять способность владеть собой. Честное благородное слово.
- А здесь в гостинице есть психиатр, – сказала дочь.
- Кто? Как фамилия?
- Не помню. Ризер, что ли. Говорят, очень хороший врач.
- Ни разу не слыхала!
- Это еще не значит, что он плохой.
- Не дерзи мне, Мюриель, пожалуйста! Мы ужасно за тебя волнуемся. Папа даже хотел дать тебе вчера телеграмму, чтобы ты вернулась домой, и потом...
- Нет, мамочка, домой я пока не вернусь, успокойся!
- Мюриель, честное слово, доктор Сиветский сказала, что Симор может окончательно потерять...
- Мама, мы только что приехали. За столько лет я в первый раз по-настоящему отдыхаю, не стану же я хватать вещички и лететь домой. Да я и не могла бы сейчас ехать. Я так обожглась

на солнце, что еле хожу.

– Ты обожглась? И сильно? Отчего же ты не мазалась «Бронзовым кремом» – я тебе положила в чемодан? Он в самом...

– Мазалась, мазалась. И все равно сожглась.

– Вот ужас! Где ты обожглась?

– Вся, мамочка, вся, с ног до головы.

– Вот ужас!

– Ничего, выживу.

– Скажи, а ты говорила с этим психиатром?

– Да, немножко.

– Что он сказал? И где в это время был Симор?

– В Морской гостиной, играл на рояле. С самого приезда он оба вечера играл на рояле.

– Что же сказал врач?

– Ничего особенного. Он сам заговорил со мной. Я сидела рядом с ним – мы играли в «бинго», и он меня спросил – это ваш муж играет на рояле в той комнате? Я сказала да, и он спросил – не болел ли Симор недавно? И я сказала...

– А почему он вдруг спросил?

– Не знаю, мам. Наверно, потому, что Симор такой бледный, худой. В общем после «бинго» он и его жена пригласили меня что-нибудь выпить. Я согласилась. Жена у него чудовище. Помнишь то жуткое вечернее платье, мы его видели в витрине у Бонуита? Ты еще сказала, что для такого платья нужна тоненькая-претоненькая...

– То, зеленое?

– Вот она и была в нем! А бедра у нее! Она все ко мне приставала – не родня ли Симор той Сюзанне Гласс, у которой мастерская на Мэдисон-авеню – шляпы!

– А он то что говорил? Этот доктор?

– Да так, ничего особенного. И вообще мы сидели в баре, шум ужасный.

– Да, но все-таки ты ему сказала, что он хотел сделать с бабусиным креслом?

– Нет, мамочка, никаких подробностей я ему не рассказывала. Но может быть, удастся с ним еще поговорить. Он целыми днями сидит в баре.

– А он не говорил, что может так случиться – ну в общем, что у Симора появятся какие-нибудь странности? Что это для тебя *опасно*?

– Да нет, – сказала дочь. – Видишь ли, мам, для этого ему нужно собрать всякие данные. Про детство и всякое такое. Я же сказала – мы почти не разговаривали: в баре стоял ужасный шум.

– Ну что ж... А как твое синее пальтишко?

– Ничего. Прокладку из-под плеч пришлось вынуть.

– А как там вообще одеваются?

– Ужасающе. Ни на что не похоже. Всюду блески – бог знает что такое.

– Номер у вас хороший?

– Ничего. Вполне терпимо. Тот номер, где мы жили до войны, нам не достался, – сказала дочь. – Публика в этом году жуткая. Ты бы посмотрела, с кем мы сидим рядом в столовой. Прямо тут же, за соседним столиком. Вид такой, будто они приехали на грузовике.

– Сейчас везде так. Юбочку носишь?

– Она слишком длинная. Я же тебе говорила.

– Мюриель, ответь мне в последний раз – как ты? Все в порядке?

– Да, мамочка, да! – сказала дочка. – В сотый раз – да!

– И тебе не хочется домой?

– Нет, мамочка, *нет*!

– Папа вчера сказал, что он готов дать тебе денег, чтобы ты уехала куда-нибудь одна и все хорошенько обдумала. Ты могла бы совершить чудесное путешествие на пароходе. Мы оба думаем, что тебе...

– Нет, спасибо, – сказала дочь и села прямо. – Мама, этот разговор влетит в...

- Только подумать, как ты ждала этого мальчишку всю войну, то есть только подумать, как все эти глупые молодые жены..
- Мамочка, давай прекратим разговор. Симор вот-вот придет.
- А где он?
- На пляже.
- На пляже? Один? Он себя прилично ведет на пляже?
- Слушай, мама, ты говоришь про него, словно он буйно помешанный.
- Ничего подобного, Мюриель, что ты!
- Во всяком случае, голос у тебя такой. А он лежит на песке, и все. Даже халат не снимает.
- Не снимает халат? Почему?
- Не знаю. Наверно, потому, что он такой бледный.
- Боже мой! Но ведь ему необходимо солнце! Ты не можешь его заставить?
- Ты же знаешь Симора, – сказала дочь и снова скрестила ножки. – Он говорит – не хочу, чтобы всякие дураки глазели на мою татуировку.
- Но у него же нет никакой татуировки! Или он в армии себе что-нибудь наколот?
- Нет, мамочка, нет, миленькая, – сказала дочь и встала. – Знаешь что, давай я тебе позво-ню завтра.
- Мюриель! Выслушай меня! Только внимательно!
- Слушаю, мамочка! – Она переступила с ноги на ногу.
- В ту же секунду, как только он скажет или сделает что-нибудь странное, – ну, ты меня понимаешь, немедленно звони! Слышишь?
- Мама, но я не боюсь Симора!
- Мюриель, дай мне слово!
- Хорошо. Даю. До свидания, мамочка! Поцелуй папу. – И она повесила трубку.
- Сими Гласс, Семиглаз, – сказала Сибилла Карпентер, жившая в гостинице со своей ма-мой. – Где Семиглаз?
- Кисонька, перестань, ты маму замучила. Стой смирно, слышишь?
- Миссис Карпентер растирала маслом от загара плечики Сибиллы, спинку и худенькие, по-хожие на крылышки лопатки. Сибилла, кое-как удерживаясь на огромном, туго надутым мячике, сидела лицом к океану. На ней был желтенький, как канарейка, купальник – трусики и лифчик, хотя в ближайшие девять-десять лет она еще прекрасно могла обойтись и без лифчика.
- Обыкновенный шелковый платочек, но это заметно только вблизи, – объясняла женщина, сидевшая в кресле рядом с миссис Карпентер. – Интересно, как это она умудрилась так его завя-зать. Прелесть что такое.
- Да, наверно, мило, – сказала миссис Карпентер. – Сибиллочка, кисонька, сиди смирно.
- А где мой Семиглаз? – спросила Сибилла.
- Миссис Карпентер вздохнула.
- Ну вот, – сказала она. Она завинтила крышку на бутылочке с маслом. – Беги теперь, кис-ка, играй. Мамочка пойдет в отель и выпьет martini с миссис Хаббель. А оливку принесет тебе.
- Выбравшись на волю, Сибилла стремглав добежала до пляжа, потом свернула к Рыбачьему павильону. По дороге она остановилась, брыкнула ножкой мокрый, развалившийся дворец из песка и скоро очутилась далеко от курортного пляжа.
- Она прошла с четверть мили и вдруг понеслась бегом, прямо к дюнам на берегу. Она добе-жала до места, где на спине лежал молодой человек.
- Пойдешь купаться, Сими Гласс? – спросила она.
- Юноша вздрогнул, схватился рукой за отвороты купального халата. Потом перевернулся на живот, и скрученное колбасой полотенце упало с его глаз. Он прищурился на Сибиллу.
- А, привет, Сибиллочка!
- Пойдешь купаться?
- Только тебя и ждал, – сказал тот. – Какие новости?
- Чего? – спросила Сибилла.

– Новости какие? Что в программе?

– Мой папа завтра прилетит на ариплане! – сказала Сибилла, подкидывая ножкой песок.

– Только не мне в глаза, крошка! – сказал юноша, придерживая Сибиллину ножку. – Да, пора бы твоему папе приехать. Я его с часу на час жду. Да, с часу на час.

– А где та тетя? – спросила Сибилла.

– Та тетя? – Юноша стряхнул песок с негустых волос. – Трудно сказать, Сибиллочка. Она может быть в тысяче мест. Скажем, у парикмахера. Красится в рыжий цвет. Или у себя в комнате – шьет куклы для бедных деток. – Он все еще лежал ничком и теперь, сжав кулаки, поставил один кулак на другой и оперся на него подбородком. – Ты лучше спроси меня что-нибудь попроще, Сибиллочка, – сказал он. – До чего у тебя костюмчик красивый, прелесть. Больше всего на свете люблю синие купальнички.

Сибилла посмотрела на него, потом – на свой выпяченный животик.

– А он желтый, – сказала она, – он вовсе желтый.

– Правда? Ну-ка подойди!

– Сибилла сделал шажок вперед.

– Ты совершенно права. Дурак я, дурак!

– Пойдешь купаться? – спросила Сибилла.

– Надо обдумать. Имей в виду, Сибиллочка, что я серьезно обдумываю это предложение.

– Сибилла ткнула ногой надувной матрасик, который ее собеседник подложил под голову вместо подушки.

– Надуть надо, – сказала она.

– Ты права. Вот именно – надуть и даже сильнее, чем я намеревался до сих пор. – Он вынул кулаки и уперся подбородком в песок. – Сибиллочка, – сказал он, – ты очень красивая. Приятно на тебя смотреть. Расскажи мне про себя. – Он протянул руки и обхватил Сибиллины щиколотки. – Я козерог, – сказал он. – А ты кто?

– Шэрон Липшюц говорила – ты ее посадил к себе на рояльную табуретку, – сказала Сибилла.

– Неужели Шэрон Липшюц так сказала?

Сибилла энергично закивала.

Он выпустил ее ножки, скрестил руки и прижался щекой к правому локтю.

– Ничего не поделаешь, – сказал он, – сама знаешь, как этот бывает, Сибиллочка. Сижую, играю. Тебя нигде нет. А Шэрон Липшюц подходит и забирается на табуретку рядом со мной. Что же – столкнуть ее, что ли?

– Столкнуть.

– Ну, нет. Нет! Я на это не способен. Но знаешь, что я сделал, угадай!

– Что?

– Я притворился, что это ты.

Сибилла сразу нагнулась и начала копать песок.

– Пойдем купаться! – сказала она.

– Так и быть, – сказал ее собеседник. – Кажется, на это я способен.

– В другой раз ты ее столкни! – сказала Сибилла.

– Кого это?

– Ах, Шэрон Липшюц! Как это ты все время про нее вспоминаешь? Мечты и сны... – Он вдруг вскочил на ноги, взглянул на океан. – Слушай, Сибиллочка, знаешь, что мы сейчас сделаем. Попробуем поймать рыбку-бананку.

– Кого?

– Рыбку-бананку, – сказал он и развязал полы халата. Он снял халат. Плечи у него были белые, узкие, плавки – ярко-синие. Он сложил халат сначала пополам, в длину, потом свернул втрое. Развернув полотенце, которым перед тем закрывал себе глаза, он разостлал его на песке и положил на него свернутый халат. Нагнувшись, он поднял надувной матрасик и засунул его подмышку. Свободной левой рукой он взял Сибиллу за руку.

Они пошли к океану.

– Ты-то уж наверняка не раз видела рыбок-бананок? – спросил он.

Сибилла покачала головой.

– Не может быть! Да где же ты живешь?

– Не знаю! – сказала Сибилла.

– Как это не знаешь? Не может быть! Шэрон Липшюц и то знает, где она живет, а ей тоже всего три с половиной!

Сибилла остановилась и выдернула руку. Потом подняла ничем не приметную ракушку и стала рассматривать с подчеркнутым интересом. Потом бросила ее.

– Шошный лес, Коннетикут, – сказала она и пошла дальше, выпятив животик.

– Шошный лес, Коннетикут, – повторил ее спутник. – А это случайно не около Соснового леса, в Коннектикуте?

Сибилла посмотрела на него.

– Я там живу! – сказала она нетерпеливо. – Я живу, шошный лес, Коннетикут. – Она пробежала несколько шажков, подхватила левую ступню левой же рукой и запрыгала на одной ножке.

– До чего ты все хорошо объяснила, просто прелесть, – сказал ее спутник.

Сибилла выпустила ступню.

– Ты читал «Негритенок Самбо»? – спросила она.

– Как странно, что ты меня об этом спросила, – сказал ее спутник. – Понимаешь, только вчера вечером я его дочитал. – Он нагнулся, взял ручонку Сибиллы. – Тебе понравилось? – спросил он.

– А тигры бегали вокруг дерева?

– Да-а, я даже подумал: когда же они остановятся? В жизни не видел столько тигров.

– Их всего шесть, – сказала Сибилла.

– Всего? – переспросил он. – По-твоему, это мало?

– Ты любишь воск? – спросила Сибилла.

– Что? – переспросил он.

– Ну, воск.

– Очень люблю. А ты?

Сибилла кивнула.

– Ты любишь оливки? – спросила она.

– Оливки? Ну, еще бы! Оливки с воском. Я без них ни шагу!

– Ты любишь Шэрон Липшюц? – спросила девочка.

– Да. Да, конечно, – сказал ее спутник. – И особенно я ее люблю за то, что она никогда не обижает маленьких собачек у нас в холле, в гостинице. Например, карликового бульдожку той дамы, из Канады. Ты, может быть, не поверишь, но есть такие девочки, которые любят тыкать этого бульдожку палками. А вот Шэрон – никогда. Никого она не обижает, не дразнит. За это я ее люблю.

Сибилла помолчала.

– А я люблю жевать свечки, – сказала она наконец.

– Это все любят, – сказал ее спутник, пробуя воду ногой. – Ух, холодная! – Он опустил надувной матрасик на воду. – Нет, погоди, Сибиллочка. Давай пройдем подальше.

Они пошли вброд, пока вода не дошла Сибилле до пояса. Тогда юноша поднял ее на руки и положил на матрасик.

– А ты никогда не носишь купальной шапочки, не закрываешь головку? – спросил он.

– Не отпускай меня! – приказала девочка. – Держи крепче!

– Простите, мисс Карпентер. Я свое дело знаю, – сказал ее спутник. – А ты лучше смотри в воду, карауль рыбку-бананку. Сегодня отлично ловится рыбка-бананка.

– А я их не увижу, – сказала девочка.

– Вполне понятно. Это очень странные рыбки. Очень странные. – Он толкал матрасик вперед. Вода еще не дошла ему до груди. – И жизнь у них грустная, – сказал он. – Знаешь, что они делают, Сибиллочка?

Девочка покачала головой.

– Понимаешь, они заплывают в пещеру, а там – куча бананов. Посмотреть на них, когда они туда заплывают, – рыбы как рыбы. Но там они ведут себя просто по-свински. Одна такая рыбка-бананка заплывла в банановую пещеру и съела там семьдесят восемь бананов. – Он подтолкнул плотик с пассажиркой еще ближе к горизонту. – И конечно, они от этого так раздуваются, что им никак не выплыть из пещеры. В двери не пролезают.

– Дальше не надо, – сказала Сибилла. – А после что?

– Когда после? О чем ты?

– О рыбках-бананках.

– Ах, ты хочешь сказать – после того как они так наедаются бананов, что не могут выбраться из банановой пещеры?

– Да, сказала девочка.

– Грустно мне об этом говорить, Сибиллочка. Умирают они.

– Почему – спросила Сибилла.

– Заболевают банановой лихорадкой. Страшная болезнь.

– Смотри, волна идет, – сказала Сибилла с тревогой.

– Давай ее не замечать, – сказал он, – давай презирать ее. Мы с тобой гордецы. – Он взял в руки Сибиллины щиколотки и нажал вниз. Плотик подняло на гребень волны. Вода залила светлые волосики Сибиллы, но в ее визге слышался только восторг.

Когда плотик выпрямился, она отвела со лба прилипшую мокрую прядку и заявила:

– А я ее видела!

– Кого, радость моя?

– Рыбку-бананку.

– Не может быть! – сказал ее спутник. – А у нее были во рту бананы?

– Да, – сказала Сибилла. – Шесть.

Юноша вдруг схватил мокрую ножку Сибиллы – она свесила ее с плотика – и поцеловал пятку.

– Фу! – сказала она.

– Сама ты «фу!» Поехали назад! Хватит с тебя?

– Нет!

– Жаль, жаль! – сказал он и подтолкнул плотик к берегу, где Сибилла спрыгнула на песок.

Он взял матрасик подмышку и понес на берег.

– Прощай! – крикнула Сибилла и без малейшего сожаления побежала к гостинице.

Молодой человек надел халат, плотнее запахнул отвороты и сунул полотенце в карман. Он поднял мокрый, скользкий, неудобный матрасик и взял его под мышку. Потом пошел один по горячему, мягкому песку к гостинице.

В подвальном этаже – дирекция отеля просила купальщиков подниматься наверх только оттуда – какая-то женщина с намазанным цинковой мазью носом вошла в лифт вместе с молодым человеком.

– Я вижу, вы смотрите на мои ноги, – сказал он, когда лифт подымался.

– Простите, не расслышала, – сказала женщина.

– Я сказал: вижу, вы смотрите на мои ноги.

– Простите, но я смотрела на пол! – сказала женщина и отвернулась к дверцам лифта.

– Хотите смотреть мне на ноги, так и говорите, – сказал молодой человек. – Зачем это вечное притворство, черт возьми?

– Выпустите меня, пожалуйста! – торопливо сказала женщина лифтерше.

Дверцы открылись, и женщина вышла не оглядываясь.

– Ноги у меня совершенно нормальные, не вижу никакой причины, чтобы так на них глядеть, – сказал молодой человек. – Пятый, пожалуйста. – И он вынул ключ от номера из кармана халата.

Выйдя на пятом этаже, он прошел по коридору и открыл своим ключом двери 507-го номе-

ра. Там пахло новыми кожаными чемоданами и лаком для ногтей.

Он посмотрел на молодую женщину – та спала на одной из кроватей. Он подошел к своему чемодану, открыл его и достал из-под груды рубашек и трусов трофейный пистолет. Он достал обойму, посмотрел на нее, потом вложил обратно. Он взвел курок. Потом подошел к пустой кровати, сел, посмотрел на молодую женщину, поднял пистолет и пустил себе пулю в правый висок.

Лапа-растяпа

Перевод: Рита Райт-Ковалева

Почти до трех часов Мэри Джейн искала дом Элоизы. И когда та вышла ей навстречу к въезду, Мэри Джейн объяснила, что все шло отлично, что она помнила дорогу совершенно точно, пока не свернула с Меррик-Паркуэй.

– Не Меррик, а Меррит, деточка! – сказала Элоиза и тут же напомнила Мэри Джейн, что она уже дважды приезжала к ней сюда, но Мэри Джейн что-то невнятно простонала насчет салфеток и бросилась к своей машине. Элоиза подняла воротник верблюжьего пальто, повернулась спиной к ветру и осталась ждать. Мэри Джейн тут же возвратилась, вытирая лицо бумажной салфеточкой, но это не помогало – вид у нее все равно был какой-то растрепанный, даже грязный. Элоиза весело сообщила, что завтрак сгорел к чертям – и сладкое мясо, и все вообще, – но оказалось, что Мэри Джейн уже перекусила по дороге. Они пошли к дому, и Элоиза поинтересовалась, почему у Мэри Джейн сегодня выходной. Мэри Джейн сказала, что у нее вовсе не весь день выходной, просто у мистера Вейнбурга грыжа и он сидит дома, в Ларчмонте, а ее дело – возить ему вечером почту и писать под диктовку письма.

– А что такое грыжа, не знаешь? – спросила она Элоизу. Элоиза бросила сигарету себе под ноги, на грязный снег, и сказала, что в точности не знает, Мэри Джейн может не беспокоиться – это не заразное. – Ага, – сказала Мэри Джейн, и они вошли в дом.

Спустя двадцать минут они уже допивали в гостиной первую порцию виски с содовой и разговаривали так, как только умеют разговаривать бывшие подруги по колледжу и соседки по общежитию. Правда, между ними была еще прочная связь: обе ушли из колледжа, не окончив его. Элоизе пришлось уйти со второго курса, в 1942 году, через неделю после того, как ее застали на третьем этаже общежития в закрытом лифте с солдатом. А Мэри Джейн в том же году, с того же курса, чуть ли не в том же месяце вышла замуж за курсанта джексонвильской летной школы в штате Флорида – это был худенький мальчик из Дилла, штат Миссисипи, влюбленный в авиацию. Два месяца из своего трехмесячного брака с Мэри Джейн он просидел в тюрьме за то, что пырнул ножом сержанта из военного патруля.

– Нет, нет, – говорила Элоиза, – совершенно рыжая.

Она лежала на диване, скрестив худые, но очень стройные ножки.

– А я слыхала, что блондинка, – повторила Мэри Джейн. Она сидела в синем кресле. – Эта, как ее там, жизнью клялась, что блондинка.

– Ну, прямо! – Элоиза широко зевнула. – Она же красилась чуть ли не при мне. Что ты? Сигареты кончились?

– Ничего, у меня есть целая пачка. Только где она? – сказала Мэри Джейн, шаря в сумке.

– Эта идиотка нянька, – сказала Элоиза, не двигаясь, – час назад я у нее под носом выложила две нераспечатанные картонки. Вот увидишь, сейчас явится и спросит, куда их девать. Черт, совсем сбилась. Про что это я?

– Про эту Тирингер, – подсказала Мэри Джейн, закуривая сигарету.

– Ага, верно. Так вот, я точно помню. Она выкрасилась вечером, накануне свадьбы, она же вышла за этого Фрэнка Хенке. Помнишь его?

– Ну как же не помнить, помню, конечно. Такой задрипанный солдатишка. Ужасно некрасивый, верно?

– Некрасивый? Мать родная! Да он был похож на немытого Белу Лугоши!

Мэри Джейн расхохоталась, запрокинув голову.

– Здорово сказано! – проговорила она и снова наклонилась к своему стакану.

– Давай-ка твой стакан, – сказала Элоиза и спустила на пол ноги в одних чулках. – Ох, эта идиотка нянька! И чего я только не делала, честное слово, чуть не заставила Лью с ней целоваться, лишь бы она поехала с нами сюда, за город. А теперь жалею. Ой, откуда у тебя эта штучка?

– Эта? – Мэри Джейн тронула камеей у ворота. – Господи, да она у меня со школы. Еще мамина.

– Чертова жизнь, – сказала Элоиза, держа пустые стаканы, – а мне хоть бы кто что оставил – ни черта, носить нечего. Если когда-нибудь моя свекровь окочурится, – дожدهшься, как же! – она мне, наверно, завещает свои старые щипцы для льда, да еще с монограммой!

– А ты с ней теперь ладишь? – спросила Мэри Джейн.

– Тебе все шуточки! – сказала Элоиза, уходя на кухню.

– Я больше не хочу, слышишь? – крикнула ей вслед Мэри Джейн.

– Черта с два! Кто кому названивал по телефону? Кто опоздал на два часа? Теперь сиди, пока мне не надоест. А карьера твоя пусть катится к чертовой маме!

Мэри Джейн опять захохотала, мотая головой, но Элоиза уже вышла на кухню.

Когда Мэри Джейн стало скучно сидеть одной в комнате, она встала и подошла к окну. Откинув занавеску, она взялась было рукой за раму, но вымазала пальцы угольной пылью, вытерла их о другую ладонь и отодвинулась от окна. Подмерзало, слякоть на дворе постепенно переходила в гололед. Мэри Джейн опустила занавеску и пошла к своему синему креслу, мимо двух набитых до отказа книжных шкафов, даже не взглянув на заглавия книжек. Усевшись в кресло, она открыла сумочку и стала рассматривать в зеркальце свои зубы. Потом сжала губы, крепко провела языком по верхней десне и снова посмотрела в зеркальце.

– Гололедница началась, – сказала она, оборачиваясь. – Ого, как быстро. Не разбавляла, что ли?

Элоиза остановилась, в руках у нее были полные стаканы. Она вытянула указательные пальцы, как дула автоматов, и сказала:

– Ни с места! Ваш дом оцеплен.

Мэри Джейн опять закатилась и убрала зеркальце.

Элоиза подошла к ней со стаканом. Неловким движением она поставила стакан гостии на подставку, но свой из рук не выпустила. Растянувшись на диване, она сказала:

– Догадайся, что эта нянька делает? Расселась всем своим толстым черным задом и читает «Облачение». Я нечаянно уронила подносик со льдом из холодильника, а она на меня как взглянет – помешала ей, видите ли!

– Это последний! Слышишь? – сказала Мэри Джейн и взяла стакан. – Да, угадай, кого я видела на прошлой неделе? В главном зале, в универмаге?

– А? – сказала Элоиза и подсунула себе под голову диванную подушку. – Акима Тамирова?

– Кого-о-о? – удивилась Мэри Джейн. – Это еще кто?

– Ну, Аким Тамиров. В кино играет. Он еще так потешно говорит: «Шутыш, всо шутыш, э?» Обожаю его... Ох, черт, в этом проклятом доме ни одной удобной подушки нет. Так кого ты видела?

– Джексон. Она шла...

– Это какая Джексон?

– Ну, не знаю. Та, что была с нами в семинаре по психологии. Она еще вечно...

– Обе они были с нами в семинаре.

– Ну, знаешь, с таким огромным...

– А-а, Марсия-Луиза. Мне она тоже как-то попалась. Наверно, заговорила тебя до обморока?

– Спрашиваешь! Но вот что она мне рассказала: доктор Уайтинг умерла! Говорит, Барбара Хилл ей писала, что у доктора Уайтинг прошлым летом нашли рак, вот она и умерла. А весу в ней было всего лишь шестьдесят два фута. Перед смертью, понимаешь. Ужас, правда?

– А мне-то что?

– Фу, какая ты стала злока, Элоиза!

– М-да. Ну, а еще что она рассказывала?

– Говорит, только что вернулась из Европы. Муж у нее служил где-то в Германии, что ли, она там была с ним. Дом, говорит, у них был в сорок семь комнат, кроме них, еще одна семья и десять слуг. Своя верховая лошадь, а ихний конюх раньше служил у Гитлера, чуть ли не личный его шталмейстер. Да, и еще она мне стала рассказывать, как ее чуть не изнасиловал солдат-негр. Понимаешь, стоим в универмаге, в главном зале, а она во весь голос – ты же ее знаешь, эту Джексон. Говорит, он служил у мужа шофером, повез ее утром на рынок или еще куда. Говорит, до того перепугалась, что даже не могла...

– погоди минутку! – Элоиза подняла голову, повысила голос: – Рамона, ты?

– Я, – ответил детский голосок.

– Закрой, пожалуйста, двери хорошенько! – крикнула Элоиза.

– Рамона пришла? Умираю, хочу ее видеть! Ведь я ее не видела с тех самых пор...

– Рамона! – крикнула Элоиза, зажмурив глаза. – Ступай на кухню, пусть Грэйс снимет с тебя ботинки!

– Ладно, – сказала Рамона. – Пойдем, Джимми!

– Умираю, хочу ее видеть! – сказала Мэри Джейн. – Боже! Смотри, что я натворила! Прости меня, Эл!

– Брось! Да брось же! – сказала Элоиза. – Мне этот гнусный ковер и так опротивел. погоди, я тебе налью еще.

– Нет, нет, смотри, у меня больше половины осталось! – И Мэри Джейн подняла стакан.

– Не хочешь? – сказала Элоиза. – Дай-ка мне сигарету!

Мэри Джейн протянула ей свою пачку и повторила:

– Умираю, хочу ее видеть. На кого она похожа?

Элоиза зажгла спичку:

– На Акима Тамирова.

– Нет, я серьезно.

– На Лью. Вылитый Лью. А когда мамаша является, они все как тройняшки. – Не вставая, Элоиза потянулась к пепельницам, сложенным стопкой на дальнем углу курительного столика. Ей удалось снять верхнюю и поставить себе на живот. – Мне бы собаку завести, спаниеля, что ли, – сказала она, – пусть хоть кто-нибудь в семье будет похож на меня.

– А как у нее с глазками? – спросила Мэри Джейн. – Хуже стало?

– Господи, да почему я знаю?

– Но без очков она видит или нет? Ну, например, ночью, если надо встать в уборную?

Мэри Джейн обернулась.

– Ну, здравствуй, Рамона! – сказала она. – Ах, какое чудное платье! – Она поставила стакан. – Да ты меня, наверно, и не помнишь, Рамона?

– Как это не помнит? Кто эта тетя, Рамона?

– Мэри Джейн, – сказала Рамона и почесалась.

– Молодец! – сказала Мэри Джейн. – Ну поцелуй же меня, Рамона!

– Перестань сейчас же! – сказала Рамоне Элоиза.

Рамона перестала чесаться.

– Ну поцелуй же меня, Рамона! – повторила Мэри Джейн.

– Не люблю целоваться.

Элоиза презрительно фыркнула и спросила:

– А где твой Джимми?

– Тут.

– Кто такой Джимми? – спросила Мэри Джейн у Элоизы.

– Господи боже, да это же ее кавалер. Ходит за ней. Всегда они заодно. Все как у людей.

– Нет, правда? – восторженно спросила Мэри Джейн. Она наклонилась к Рамоне. – У тебя есть кавалер, Рамона?

В близоруких глазах Рамоны за толстыми стеклами очков не отразилось ни тени восторга,

звучавшего в голосе Мэри Джейн.

– Мэри Джейн тебя спрашивает, Рамона, – сказала Элоиза.

Рамона засунула палец в широкий курносый носик.

– Не смей! – сказала Элоиза. – Мэри Джейн спрашивает, есть у тебя кавалер или нет.

– Есть, – сказала Рамона, ковыряя в носу.

– Рамона! – сказала Элоиза. – Перестань сейчас же! Слышишь? Кому говорят?

Рамона опустила руку.

– Нет, правда, это чудесно! – сказала Мэри Джейн. – А как его звать? Скажи мне, как его зовут, Рамона? Или это секрет?

– Джимми, – сказала Рамона.

– Ах, Джимми! Как я люблю это имя! Джимми, а дальше как, Рамона?

– Джимми Джиммирино, – сказала Рамона.

– Не вертись! – сказала Элоиза.

– О-о, какое интересное имя! А где сам Джимми? Скажи, Рамона, где он?

– Тут, – сказала Рамона.

Мэри Джейн оглянулась вокруг, потом посмотрела на Рамону с самой нежной улыбкой.

– Где тут, солнышко?

– Тут, – сказала Рамона. – Я его держу за руку.

– Ничего не понимаю, – сказала Мэри Джейн Элоизе. Та допила виски.

– А я тут при чем? – сказала она.

Мэри Джейн обернулась к Рамоне.

– Ах, поняла! Ты просто придумала себе маленького мальчика Джимми. Какая прелесть! –

Мэри Джейн приветливо наклонилась к Рамоне: – Здравствуй, Джимми! – сказала она.

– Да разве он станет с тобой разговаривать! – сказала Элоиза. – Рамона, ну-ка, расскажи

Мэри Джейн про Джимми.

– Что про Джимми?

– Не вертись, стой прямо, слышишь... Расскажи Мэри Джейн, какой он, твой Джимми.

– У него глаза зеленые, а волосы черные.

– Еще что?

– Папы-мамы нет.

– Еще что?

– Веснушек нет.

– А что есть?

– Сабля.

– А еще что?

– Не знаю, – сказала Рамона и снова стала почесываться.

– Да он просто красавец! – сказала Мэри Джейн и еще ближе наклонилась вперед. – Скажи, Рамона, а Джимми тоже снял ботинки, когда вы пришли?

– Он в сапогах, – сказала Рамона.

– Нет, это прелесть! – сказала Мэри Джейн, обращаясь к Элоизе.

– Тебе хорошо говорить. А мне целыми днями терпеть. Джимми с ней ест, Джимми с ней купается, Джимми спит на ее кровати. Она и ложится-то с самого краю, чтобы его нечаянно не толкнуть.

Мэри Джейн сосредоточенно закусила губу, выражая полное восхищение, потом спросила:

– Откуда она взяла это имя?

– Джимми Джиммирино? Кто ее знает!

– Наверно, так зовут какого-нибудь соседского мальчишку?

Элоиза зевнула и покачала головой.

– Нет тут никаких соседских мальчишек. Тут вообще ребят нету. Меня и то зовут «соседка-наседка», конечно, не в глаза, а...

– Мама, можно поиграть во дворе? – спросила Рамона.

Элоиза покосилась на нее:

– Ты же только что пришла.
– Джимми хочет туда.
– Это еще за чем?
– Саблю забыл.
– О черт, опять Джимми, опять эти дурацкие выдумки. Ладно. Ступай. Ботинки не забудь.
– Можно взять это? – Рамона взяла обгорелую спичку из пепельницы.
– Взять, а не «взять». Бери. На улицу не выходи, слышишь?
– До свидания, Рамона! – ласково пропела Мэри Джейн.
– ... свидания. Пошли, Джимми!
Элоиза вдруг вскочила, покачнувшись:
– Дай-ка твой стакан!
– Не надо, Эл, ей-богу! Меня ведь ждут в Ларчмонте. Мистер Вейнбург такой добрый, я никак не могу...
– Позвони, скажи, что тебя зарезали. Ну, давай стакан, слышишь?
– Не надо, Эл, честное слово. Тут еще подмораживает. А у меня антифриза почти не осталось. Понимаешь, если я...
– Ну и пусть все замерзнет к чертям. Иди звони. Сообщи, что ты умерла, – сказала Элоиза. – Ну, давай стакан.
– Что с тобой делать... Где у вас телефон?
– А во-он он куда забрался, – сказала Элоиза, выходя с пустыми стаканами в столовую. – Во-он где. – Она вдруг остановилась на пороге столовой, споткнулась и притопнула ногой. Мэри Джейн только хихикнула.

– А я тебе говорю – не знала ты Уолта, – говорила Элоиза в четверть пятого, лежа на ковре и держа стакан с коктейлем на плоской, почти мальчишеской груди. – Никто на свете не умел так смешить меня. До слез, по-настоящему. – Она взглянула на Мэри Джейн. – Помнишь тот вечер, в последний семестр, как мы хохотали, когда эта психованная Луиза Германсон влетела к нам в одном черном бюстгальтере, она еще купила его в Чикаго, помнишь?

Мэри Джейн громко прыснула. Она лежала ничком на диване, оперев подбородок на валик, чтобы лучше видеть Элоизу. Стакан с коктейлем стоял на полу, рядом.

– Вот он умел меня рассмешить, – сказала Элоиза. – Смешил в разговоре. Смешил по телефону. Даже в письмах смешил до упаду. И самое главное, он и не старался нарочно, просто с ним всегда было так весело, так смешно. – Она повернула голову к Мэри Джейн. – Будь другом, брось мне сигаретку.

– Никак не дотянусь, – сказала Мэри Джейн.

– Ну, шут с тобой. – Элоиза опять уставилась в потолок. – А как-то раз я упала, – сказала она. – Ждала его, как всегда, на автобусной остановке, около самого общежития, и он почему-то опоздал, пришел, а автобус уже тронулся. Мы побежали, я грохнулась и растянула связку. Он говорит: «Бедный мой лапа-растяпа!..» Это он про мою ногу. Так и сказал: «Бедный мой лапа-растяпа!» Господи, до чего ж он был милый!

– А разве у твоего Лью нет чувства юмора? – спросила Мэри Джейн.

– Что?

– Разве у Лью нет чувства юмора?

– А черт его знает! Наверно, есть, не знаю. Смеется, когда смотрит карикатуры, и всякое такое. – Элоиза приподняла голову с ковра и, сняв стакан с груди, отпила глоток.

– Нет, все-таки это еще не все, – сказала Мэри Джейн. – Этого мало. Понимаешь, мало.

– Чего мало?

– Ну... сама знаешь... Если тебе с человеком весело, и все такое...

– А кто тебе сказал, что этого мало? – сказала Элоиза. – Жить надо весело, не в монашки же мы записались, ей-богу!

Мэри Джейн захохотала:

– Нет, ты меня уморишь! – сказала она.

– Господи боже, до чего он был милый, – сказала Элоиза. – То смешной, то ласковый. И не то чтобы прилипчивый, как все эти дураки-мальчишки, нет, он и ласковый был по-настоящему. Знаешь, что он однажды сделал?

– Ну? – сказала Мэри Джейн.

– Мы ехали поездом из Трентона в Нью-Йорк – его только что призвали. В вагоне холодина, мы оба укрылись моим пальто. Помню, на мне еще был джемпер – я его взяла у Джойс Морроу, – помнишь, такой чудный синий джемперок?

Мэри Джейн кивнула, но Элоиза даже не поглядела на нее.

– Ну вот, а его рука как-то очутилась у меня на животе. Понимаешь, просто так. И вдруг он мне говорит: у тебя животик до того красивый, что лучше бы сейчас какой-нибудь офицер приказал мне высунуть другую руку в окошко. Говорит: хочу, чтоб все было по справедливости. И тут он убрал руку и говорит проводнику: «Не сутультесь! Не выношу, – говорит, – людей, которые не умею носить форму с достоинством». А проводник ему говорит: «Спите, пожалуйста».

Элоиза замолчала, потом сказала:

– Важно не то, что он говорил, важно, как он это говорил.

– А ты своему Лью про него рассказывала? Вообще рассказывала?

– Ему? – сказала Элоиза. – Да, я как-то упомянула, что был такой. И знаешь, что он прежде всего спросил? В каком он был звании.

– А в каком?

– И ты туда же? – сказала Элоиза.

– Да нет же, я просто так...

Элоиза вдруг рассмеялась грудным смехом.

– Знаешь, что Уолт мне как-то сказал? Сказал, что он, конечно, продвигается в армии, но не в ту сторону, что все. Говорит: когда его повысят в звании, так, вместо того чтоб дать ему нашивку, у него срежут рукава. Говорит, пока дойду до генерала, меня догола разденут. Только и останется, что медная пуговка на пупе.

Элоиза посмотрела на Мэри Джейн – та даже не улыбнулась.

– По-твоему, не смешно?

– Смешно, конечно. Только почему ты не рассказываешь про него своему Лью?

– Почему? Да потому что Лью – тупица, каких свет не видел, вот почему, – сказала Элоиза. – Мало того. Я тебе вот что скажу, деловая барышня. Если ты еще раз выйдешь замуж, никогда ничего мужу не рассказывай. Поняла?

– А почему? – спросила Мэри Джейн.

– Потому. Ты меня слушай, – сказала Элоиза. – Им хочется думать, что у тебя от каждого знакомого мальчишки всю жизнь с души воротило. Я не шучу, понятно?

Да, конечно, можешь им рассказывать что угодно. Но правду – никогда, ни за что! Понимаешь, правду – ни за что! Скажешь, что была знакома с красивым мальчиком, обязательно добавь, что красота у него была какая-то слащавая. Скажешь, что знала остроумного парня, непременно тут же объясни, что он был трепло и задавака. А не скажешь, так он тебе будет колоть глаза этим мальчиком при всяком удобном случае... Да, конечно, он тебя выслушает очень разумно, как полагается. И физиономия у него будет умная до черта. А ты не поддавайся. Ты меня слушай. Стоит только поверить, что они умные, у тебя не жизнь будет, а сущий ад.

Мэри Джейн явно расстроилась, подняла голову с диванного валика и для разнообразия оперлась на локоть, уткнув подбородок в ладонь. Видно, она обдумывала совет Элоизы.

– Но не будешь же ты отрицать, что Лью – умный? – сказала она вслух.

– Как не буду?

– А разве он не умный? – невинным голосом спросила Мэри Джейн.

– Слушай! – сказала Элоиза. – Что толку болтать впустую? Давай бросим. Я тебе только настроение испорчу. Не слушай меня.

– Чего ж ты за него вышла замуж? – спросила Мэри Джейн.

– Матерь божия! Да почему я знаю. Говорил, что любит романы Джейн Остин. Говорил – эти книги сыграли большую роль в его жизни. Да, да, так и сказал. А когда мы поженились, я все

узнала: оказывается, он ни одного ее романа и не открывал. Знаешь, кто его любимый писатель?

Мэри Джейн покачала головой.

– Л. Меннинг Вайнс. Слыхала про такого?

– Не-ет.

– Я тоже. И никто его не знает. Он написал целую книжку про каких-то людей, как они умерли с голоду на Аляске – их было четверо. Лью и названия книжки не помнит, но говорит, она изумительно написана! Видала? Не хватает честности прямо сказать, что ему просто нравится читать, как эти четверо подымают с голоду в этом самом углу или как оно там называется. Нет, ему надо выставяться, говорить – из-зумительно написано!

– Тебе бы все критиковать, – сказала Мэри Джейн. – Понимаешь, слишком ты все критикуешь. А может, на самом деле книга хорошая.

– Ни черта в ней хорошего, поверь мне! – сказала Элоиза. Потом подумала и добавила: – У тебя хоть работа есть. Понимаешь, хоть работа...

– Нет, ты послушай, – сказала Мэри Джейн. – Может, ты все-таки расскажешь ему когда-нибудь, что Уолт погиб? Понимаешь, не станет же он ревновать, когда узнает, что Уолт – ну, сама знаешь. Словом, что он погиб.

– Ах ты моя миленькая! Дурочка ты моя невинная, а еще карьеру делаешь, бедняжка! – сказала Элоиза. – Да тогда будет в тысячу раз хуже! Он из меня кровь выпьет. Ты пойми. Сейчас он только и знает, что я дружила с каким-то Уолтом – с каким-то остряком-солдатиком. Я ему ни за что на свете не скажу, что Уолт погиб. Ни за что на свете. А если скажу – что вряд ли, – так скажу, что он убит в бою.

Мэри Джейн приподняла голову, потерлась подбородком об руку.

– Эл... – сказала она.

– Ну?

– Почему ты мне не расскажешь, как он погиб? Клянусь, я тебя никому не выдам. Честное благородное. Ну, пожалуйста!

– Нет.

– Ну, пожалуйста. Честное благородное. Никому.

Элоиза допила виски и поставила стакан прямо на грудь.

– Ты расскажешь Акиму Тамирову, – проговорила она.

– Да что ты! То есть я хочу сказать – ни за что, никому...

– Понимаешь, его полк стоял где-то на отдыхе, – сказала Элоиза. Передышка между боями, что ли, так в письме было, мне его друг написал. Уолт с одним парнем упаковывали японскую плитку. Их полковник хотел ее отослать домой. А может, распаковывали, вынимали из ящика, чтобы перепаковать, – точно не знаю. Словом, в ней было полно бензина и всякого хлама – она и взорвалась прямо у них в руках. Тому, второму, только глаз выбило. – Элоиза вдруг заплакала и крепко обхватила пальцами пустой стакан, чтобы он не опрокинулся ей на грудь.

Скользнув с дивана, Мэри Джейн на четвереньках подползла к Элоизе и стала гладить ее по голове:

– Не плачь, Эл, не надо, не плачь!

– Разве я плачу? – сказала Элоиза.

– Да, да, понимаю. Не надо. Теперь уж не стоит, не надо.

Стукнула парадная дверь.

– Рамона явилась, – протянула Элоиза в нос. – Сделай милость, пойдешь на кухню и скажи этой самой, как ее, чтобы она накормила ее пораньше. Ладно?

– Ладно, ладно, только ты не плачь! Обещаешь?

– Обещаю. Ну, иди же! А мне неохота сейчас идти в эту чертову кухню.

Мэри Джейн встала, пошатнулась, выпрямилась и вышла из комнаты. Вернулась она минуты через две, впереди бежала Рамона. Бежала она, стуча пятками, стараясь как можно громче шлепать расстегнутыми ботинками.

– Ни за что не дает снять ботинки! – сказала Мэри Джейн.

Элоиза, так и не поднявшись с полу, лежала на спине и сморкалась в платок. Не отнимая

платка, она сказала Рамоне:

– Ступай скажи Грэйс, пусть снимет с тебя боты. Ты же знаешь, что нельзя в ботинках...

– Она в уборной, – сказала Рамона.

Элоиза скомкала платок и с трудом села.

– Дай ногу! – сказала она. – Нет, ты сядь, слышишь?... Да не там, тут, тут... Ох, мать божия!

Мэри Джейн ползала под столом на коленках, ища сигареты.

– Слушай, знаешь, что случилось с Джимми? – сказала она.

– Понятия не имею. Другую ногу! Слышишь, другую ногу! Ну!..

– Попал под машину! – сказала Мэри Джейн. – Какой ужас, правда?

– А я видела Буяна с косточкой, – сказала Рамона.

– Что там с твоим Джимми? – спросила ее Элоиза.

– Его переехала машина, он умер. Я хотела отнять косточку у Буяна, а он не отдавал...

– Дай-ка лоб, – сказала Элоиза. Она дотронулась до лобика Рамоны: – Да у тебя жар. Ступай, скажи Грэйс, чтобы покормила тебя наверху. И сразу – в кровать. Я потом приду. Иди же, иди, пожалуйста. И заberi свои ботинки.

Медленно, как на ходулях, Рамона прошагала к дверям.

– Брось-ка мне сигаретку! – попросила Элоиза. – И давай еще выпьем!

Мэри Джейн подала Элоизе сигаретку.

– Нет, ты только подумай! Как она про этого Джимми! Вот это фантазия!

– Угу. Пойди-ка налей нам. А лучше неси бутылку сюда. Не хочу я туда идти... Там так противно пахнет апельсиновым соком.

В пять минут восьмого зазвонил телефон. Элоиза встала с кушетки у окна и начала в темноте нащупывать свои туфли. Найти их не удалось. В одних чулках она медленно, томной походкой направилась к телефону. Звонок не разбудил Мэри Джейн – уткнувшись лицом в подушку, она спала на диване.

– Алло, – сказала Элоиза в трубку, верхний свет она не включила. – Слушай, я за тобой не приеду. У меня Мэри Джейн. Она загородила своей машиной выезд, а ключа найти не может. Невозможно выехать. Мы двадцать минут искали ключ – в этом самом, как его, в снегу, в грязи. Может, Дик и Милдред тебя подвезут? – Она послушала, потом сказала: – Ах, так. Жаль, жаль, дружок. А вы бы, мальчики, построились в шеренгу и марш-марш домой! Только командуй: – Левой, правой! Левой, правой! Тебя – командиром! – Она опять послушала. – Вовсе я не острую, – сказала она, – ей-богу, и не думаю. Это у меня чисто нервное. – И она повесила трубку.

Обратно в гостиную она шла уже не так уверенно. Подойдя к кушетке у окна, она вылила остатки виски из бутылки в стакан; вышло примерно с полпальца, а то и больше. Она выпила залпом, передернулась и села.

Когда Грэйс включила свет в столовой, Элоиза вздрогнула. Не вставая, она крикнула Грэйс:

– До восьми не подавайте, Грэйс. Мистер Венглер немножко опоздает.

Грэйс остановилась на пороге столовой, лампа освещала ее сзади.

– Ушла ваша гостья?

– Нет, отдыхает.

– Та-ак, – сказала Грэйс. – Миссис Венглер, нельзя бы моему мужу переночевать тут? Места у меня в комнатке хватит, а ему в Нью-Йорк до утра не надо, да и погода – хуже нет.

– Вашему мужу? А где он?

– Да тут, – сказала Грэйс, – он у меня на кухне сидит.

– Нет, Грэйс, ему тут ночевать нельзя.

– Как вы сказали, мэм?

– Ему тут ночевать нельзя. У меня не гостиница.

Грэйс на минуту застыла, потом сказала:

– Слушаю, мэм, – и вышла на кухню.

Элоиза прошла через столовую и поднялась по лестнице, куда падал смутный отсвет из столовой. На площадке валялся Рамонин ботик. Элоиза подняла его и с силой швырнула через перила вниз. Ботик с глухим стуком шлепнулся на пол.

В Рамониной детской она включила свет, крепко держась за выключатель, словно боялась упасть. Так она постояла минуту, уставившись на Рамону. Потом выпустила выключатель и торопливо подошла к кровати.

– Рамона! Проснись! Проснись сейчас же!

Рамона спала на самом краешке кровати, почти свесив задик через край. На столике, разрисованном утятами, лежали стеклами вверх очки с аккуратно сложенными дужками.

– Рамона!

Девочка проснулась с испуганным вздохом. Она широко раскрыла глаза и тут же сощурилась:

– Мам?

– Ты же сказала, Джимми Джиммирино умер, что попал под машину?

– Чего?

– Слышишь, что я говорю? Почему ты опять спишь с краю?

– Потому.

– Почему «потому», Рамона, я тебя серьезно спрашиваю, не то...

– Потому что не хочу толкать Микки.

– Кого-о?

– Микки, – сказала Рамона и почесала нос: – Микки Микеранно.

Голос у Элоизы сорвался до визга:

– Сию минуту ложись посерединке! Ну!

Рамона испуганно уставилась на мать.

– Ах, так! – И Элоиза схватила Рамону на ножки и, приподняв их, не то перетащила, не то перебросила ее на середину кровати. Рамона не сопротивлялась, не плакала, она дала себя передвинуть, но сама не пошевелинулась. – А теперь спи! – сказала Элоиза, тяжело дыша. – Закрой глаза... Что я тебе сказала, закрой глаза.

Рамона закрыла глаза.

Элоиза подошла к выключателю, потушила свет. В дверях она остановилась и долго-долго не уходила. И вдруг метнулась в темноте к ночному столику, ударилась коленкой о ножку кровати, но сгоряча даже не почувствовала боли. Схватив обеими руками Рамонины очки, она прижала их к щеке. Слезы ручьем покатились на стекла.

– Бедный мой лапа-растяпа! – повторяла она снова и снова. – Бедный мой лапа-растяпа!

Потом положила очки на столик, стеклами вниз. Наклоняясь, она чуть не потеряла равновесия, но тут же стала подтыкать одеяло на кровати Рамоны. Рамона не спала. Она плакала, и, видимо, плакала уже давно. Мокрыми губами Элоиза поцеловала ее в губы, убрала ей волосы со лба и вышла из комнаты.

Спускаясь с лестницы, она уже сильно пошатывалась и, сойдя вниз, стала будить Мэри Джейн.

– Что? Кто это? Что такое? – Мэри Джейн рывком села на диване.

– Слушай, Мэри Джейн, милая, – всхлипывая, сказала Элоиза. – Помнишь, как на первом курсе я надела платье, помнишь, такое коричневое с желтеньким, я его купила в Бойзе, а Мириам Белл сказала – таких платьев в Нью-Йорке никто не носит, помнишь, я всю ночь проплакала? – Элоиза схватила Мэри Джейн за плечо: – Я же была хорошая, – умоляюще сказала она, – правда, хорошая.

Перед самой войной с эскимосами

Перевод: Суламифь Оскаровна Митина

Пять раз подряд в субботу по утрам Джинни Мэннокс играла в теннис на Ист-Сайдском корте с Селиной Графф, своей соученицей по школе мисс Бейсхор. Джинни не скрывала, что считает Селину самой жуткой тусклячкой во всей школе – а у мисс Бейсхор тусклячек явно было с избытком, – но, с другой стороны, из всех знакомых Джинни одна только Селина приносила на корт непечатые жестянки с теннисными мячами. Отец Селины их изготовлял – что-то вроде того. (Однажды за обедом Джинни изобразила семейству Мэннокс сцену обеда у Граффов; в созданной ее воображением картине фигурировал и вышколенный лакей – он обходил обедающих с левой стороны, поднося каждому вместо стакана с томатным соком жестянку с мячиками.) Но вечная история с такси – после тенниса Джинни довозила Селину до дому, а потом всякий раз должна была выкладывать деньги за проезд одна – начинала действовать ей на нервы: ведь в конце концов мысль о том, чтобы возвращаться с корта на такси, а не автобусом, подавала Селина. И на пятый раз, когда машина двинулась вверх по Йорк-авеню, Джинни вдруг прорвало.

– Слушай, Селина...

– Что? – спросила Селина, усиленно шаря под ногами. – Никак не найду чехла от ракетки! – проныла она.

Несмотря на теплую майскую погоду, обе девочки были в пальто – поверх шортов.

– Он у тебя в кармане, – сказала Джинни. – Эй, послушай-ка...

– О, господи! Ты спасла мне жизнь!

– Слушай, – повторила Джинни, не желавшая от Селины никакой благодарности за что бы там ни было.

– Ну что?

Джинни решила идти напролом. Они подъезжали к улице, где жила Селина.

– Мне это не светит – опять выкладывать все деньги за такси одной, – объявила Джинни. – Я, знаешь ли, не миллионерша.

Селина приняла сперва удивленный вид, потом обиженный.

– Но ведь я всегда плачу половину, скажешь нет? – спросила она самым невинным тоном.

– Нет, – отрезала Джинни. – Ты заплатила половину в первую субботу, где-то в начале прошлого месяца. А с тех пор – ни разу. Я не хочу зажиматься, но, по правде говоря, мне выдают всего четыре пятьдесят в неделю. И из них я должна...

– Но ведь я всегда приношу теннисные мячи, скажешь, нет?

Джинни иногда готова была убить Селину.

– Твой отец их *изготавливает* – или что-то вроде того, – оборвала она ее. – Они же *тебе* ни гроша не стоят. А мне приходится платить буквально за каждую...

– Ладно, ладно, – громко сказала Селина, давая понять, что разговор окончен и последнее слово осталось за ней. Потом со скучающим видом принялась шарить в карманах пальто.

– У меня всего тридцать пять центов, – холодно сообщила она. – Этого достаточно?

– Нет. Прости, но за тобой доллар шестьдесят пять. Я каждый раз замечала, сколько...

– Мне придется пойти наверх и взять деньги у мамы. Может, это подождет до понедельника? Я бы захватила их в спортивный зал, если ты уж без них жить не можешь.

Тон Селины убивал всякое желание пойти ей навстречу.

– Нет, – сказала Джинни. – Вечером я иду в кино. Так что деньги нужны мне сейчас.

Девочки смотрели каждая в свое окно и враждебно молчали, пока такси не остановилось у многоквартирного дома, где жила Селина. Тогда Селина, сидевшая со стороны тротуара, вылезла из машины. Небрежно прикрыв дверцу, она с величаво рассеянным видом заезжей голливудской знаменитости быстро вошла в дом. Джинни, с пылающим лицом, стала расплачиваться. Потом собрала свое теннисное снаряжение – ракетку, полотенце, картузик – и направилась вслед за Селиной. В пятнадцать лет Джинни была метр семьдесят два ростом, и сейчас, когда она вошла в парадное, застенчивая и неловкая, в большущих кедах, в ней чувствовалась резкая грубоватая прямолинейность. Поэтому Селина предпочитала глядеть на шкалу указателя у клетки лифта.

– Всего за тобой доллар девяносто, – сказала Джинни, подходя к лифту.

Селина обернулась.

– Может, тебе просто интересно будет узнать, что моя мама очень больна, – сказала она.

– А что с ней?

– Вообще-то у нее воспаление легких, и если ты думаешь, что для меня такое удовольствие – беспокоить ее из-за каких-то денег... – В эту незаконченную фразу Селина постаралась вложить весь свой апломб.

По правде говоря, Джинни была несколько озадачена этим сообщением, хоть и не ясно было, в какой мере оно соответствует истине – впрочем, не настолько, чтобы расчувствоваться.

– Ну, я тут ни при чем, – ответила Джинни и вслед за Селиной вошла в лифт.

Наверху Селина позвонила, и прислуга-негритянка, с которой она, видимо, не разговаривала, впустила девочек, вернее просто распахнула перед ними дверь и оставила ее открытой. Бросив теннисное снаряжение на стул в передней, Джинни двинулась за Селиной. В гостиной Селина обернулась.

– Ничего, если ты обождешь здесь? Может, мне придется будить маму, и все такое.

– Ладно, – сказала Джинни и плюхнулась на диван.

– В жизни бы не подумала, что ты такая мелочная, – сказала Селина. У нее достало злости употребить слово «мелочная», но все-таки не хватило смелости сделать на нем упор.

– Ну, а теперь знаешь, – отрезала Джинни и раскрыла «Вог», заслонив им лицо. Она держала журнал перед собой до тех пор, пока Селина не вышла из гостиной, потом положила его обратно на приемник и принялась разглядывать комнату, мысленно переставляя мебель, выбрасывая настольные лампы и искусственные цветы. Обстановка была, на ее взгляд, отвратная: дорогая, но совершенно безвкусная.

Внезапно из другой комнаты донесся громкий мужской голос:

– Эрик, ты?

Джинни решила, что это Селинин брат, которого она никогда не видела. Скрестив длинные ноги, она обернула на коленках верблюжье пальто и стала ждать.

В гостиную ворвался долговязый очкастый человек – в пижаме и босиком; рот у него был приоткрыт.

– Ой... Я думал, это Эрик, черт подери. – Не останавливаясь в дверях, он прошагал через комнату, сильно горбясь и бережно прижимая что-то к своей впалой груди, потом сел на свободный конец дивана. – Только что палец порезал, будь он проклят, – возбужденно заговорил он, глядя на Джинни так, словно ожидал ее здесь встретить. – Когда-нибудь случалось порезаться? Чтоб до самой кости, а?

В его громком голосе явственно слышались просительные нотки, словно своим ответом Джинни могла избавить его от тягостной обособленности, на которую обречен человек, испытывавший такое, чего еще не бывало ни с кем.

Джинни смотрела на него во все глаза.

– Ну, не так чтобы до кости, но случалось, – ответила она.

Такого чудного с виду парня – или мужчины (это сказать было трудно) – она в жизни не видела. Волосы растрепаны, верно, только что встал с постели. На лице – двухдневная щетина, редкая и белесая. Вообще с виду – лопух.

– А как же вы порезались? – спросила Джинни.

Опустив голову и раскрыв вялый рот, он внимательно разглядывал пораненный палец.

– Чего? – переспросил он.

– Как вы порезались?

– А черт его знает, – сказал он, и самый тон его означал, что ответить на этот вопрос сколько-нибудь вразумительно нет никакой возможности. – Искал что-то в этой дурацкой мусорной корзинке, а там лезвий полно.

– Вы брат Селины? – спросила Джинни.

– Угу. Черт, я истекаю кровью. Не уходи. Как бы не потребовалось какое-нибудь там дурацкое переливание крови.

– А вы его чем-нибудь залепили?

Селинин брат слегка отвел руку от груди и приоткрыл ранку, чтобы показать ее Джинни.

– Да нет, просто приложил кусочек вот этой дурацкой туалетной бумаги, – сказала он. –

Останавливает кровь. Как при бритье, когда порежешься. – Он снова взглянул на Джинни. – А ты кто? – спросил он. – Подруга нашей поганки?

– Мы с ней из одного класса.

– Да?.. А звать как?

– Вирджиния Мэннокс.

– Ты – Джинни? – спросил он и подозрительно глянул на нее сквозь очки. – Джинни Мэннокс?

– Да, – сказала Джинни и выпрямила ноги.

Селинин брат снова уставился на свой палец – для него это явно был самым важным, единственно достойный внимания объект во всей комнате.

– Я знаю твою сестру, – проговорил он бесстрастно. – Воображала паршивая.

Спина у Джинни выгнулась:

– Кто-кто?

– Ты слышала кто.

– Вовсе она не воображала!

– Ну да, не воображала. Еще какая, черт подери.

– Никакая она не воображала!

– Еще какая, черт дер! Принцесса паршивая. Принцесса Воображала.

Джинни все смотрела на него – он приподнял туалетную бумагу, накрученную в несколько слоев на палец, и заглянул под нее.

– Да вы моей сестры вовсе не знаете!

– Ну да, не знаю, прямо...

– А как ее звать? Как ее имя? – настойчиво допытывалась Джинни.

– Джоан. Джоан-Воображала.

Джинни промолчала.

– А какая она из себя? – спросила она вдруг.

Ответа не последовало.

– Ну, какая она из себя? – повторила Джинни.

– Да будь она хоть вполовину такая хорошенькая, как она *воображает*, можно было бы считать, что ей чертовски повезло, – сказал Селинин брат.

Ответ довольно занятный, решила про себя Джинни.

– А она о вас никогда не упоминала.

– Я убит. Убит на месте.

– Кстати, она помолвлена, – сказала Джинни, наблюдавшая за ним. – В будущем месяце выходит замуж.

– За кого? – Он вскинул глаза.

Джинни не преминула этим воспользоваться.

– А вы его все равно не знаете.

Он снова принялся накручивать бумажку на палец.

– Мне его жаль, – объявил он.

Джинни фыркнула.

– Кровища хлещет как сумасшедшая. Ты как считаешь – может, смазать чем-нибудь? А вот чем? Меркурохром годится?

– Лучше йодом, – сказала Джинни. Потом, решив, что слова ее прозвучали недостаточно профессионально и веско, добавила:

– Меркурохром тут вовсе не поможет.

– А почему? Чем он плох?

– Просто он в таких случаях не годится, вот и все. Йодом нужно.

Он взглянул на Джинни.

– Ну да еще, он щиплет здорово, скажешь, нет? Щиплет как черт, что – неправда?

– Ну, щиплет, – согласилась Джинни. – Но вы от этого не умрете, и вообще.

Видимо, несколько не обидевшись на Джинни за ее тон, он снова уставился на свой палец.

– Не люблю, когда щиплет, – признался он.

– *Никто* не любит.

– Угу. – Он кивнул.

Некоторое время Джинни молча наблюдала за его действиями.

– Хватит ковырять, – сказала она вдруг.

Селинин брат, словно его током ударило, отдернул здоровую руку. Он чуть выпрямился, вернее стал чуть меньше горбиться, и принялся разглядывать что-то на другом конце комнаты. Мятое лицо его приняло сонное выражение. Вставив ноготь между передними зубами, он извлек оттуда застрявший кусочек пищи и повернулся к Джинни.

– Ела уже? – спросил он.

– Что?

– Завтракала, говорю?

Джинни покачала головой.

– Дома поем. Мама всегда готовит завтрак к моему приходу.

– У меня в комнате половинка сэндвича с курицей. Хочешь? Я его не надкусывал и ничего такого.

– Нет, спасибо. Правда не хочу.

– Ты же только что с тенниса, черт дери. Неужели не проголодалась?

– Не в том дело, – ответила Джинни и снова скрестила ноги. – Просто мама всегда готовит завтрак к моему приходу. Если я не стану есть, она разозлится, вот я про что.

Брат Селины, видимо, удовлетворился этим объяснением. Во всяком случае, он кивнул и стал смотреть в сторону. Но вдруг снова обернулся:

– Стаканчик молока, а?

– Нет, не надо... А вообще-то спасибо вам.

Он рассеянно наклонился и почесал голую лодыжку.

– Как звать того парня, за кого она выходит? – спросил он.

– Это вы про Джоан? – сказала Джинни. – Дик Хефнер.

Селинин брат молча чесал лодыжку.

– Он военный моряк, капитан-лейтенант.

– Фу-ты, ну-ты!

Джинни фыркнула. Он расчесывал лодыжку, покуда она не покраснела, потом принялся расковыривать какую-то царапину, и Джинни отвела взгляд.

– А откуда вы знаете Джоан? – спросила она. – Я вас ни разу не видела ни у нас дома, ни вообще.

– Сроду не был в вашем дурацком доме.

Джинни выжидательно помолчала, но продолжения не последовало.

– А где же вы тогда с ней познакомились?

– ... вечеринка.

– На вечеринке? А когда?

– Да не знаю. Рождество, в сорок втором.

Из нагрудного кармана пижамы он вытащил двумя пальцами сигарету, такую измятую, будто он на ней спал.

– Брось-ка мне спички, а? – попросил он.

Джинни взяла коробок со столика у дивана и протянула Селинину брату. Он закурил сигарету, так и не распрямив ее, потом сунул обгоревшую спичку в коробок. Запрокинув голову, он медленно выпустил изо рта целое облако дыма и стал втягивать его носом. Так он и курил, делая «французские затяжки» одну за другой. Видимо, то была не салонная бравада, а просто демонстрация личного достижения молодого человека, который, к примеру, время от времени, может быть, даже пробовал бриться левой рукой.

– А почему Джоан воображала? – поинтересовалась Джинни.

– Почему? Да потому, что воображала. Откуда мне, к чертям, знать – почему?

– Да, но я хочу сказать – почему вы так говорите?

Он устало повернулся к ней.

– Послушай. Я написал ей восемь писем, черт дери. *Восемь*. И она *ни на одно* не ответила. Джинни помолчала.

– Ну, может, она была занята.

– Хм. Занята. Трудится, не покладая рук, черт подери.

– Вам непременно надо все время чертыхаться?

– Вот именно, черт подери.

Джинни снова фыркнула.

– А вообще-то вы давно ее знаете? – спросила она.

– Довольно давно.

– Я хочу сказать – вы ей звонили хоть раз или еще там что? Я говорю – звонили вы ей?

– Не-а...

– Вот это да! Так если вы ей никогда не звонили, и вообще...

– Не мог, к чертям собачьим.

– Почему? – удивилась Джинни.

– *Не был* тогда в Нью-Йорке.

– Да? А где же вы были?

– Я? В Огайо.

– А, вы были в колледже?

– Не, ушел.

– А, так вы были в армии?

– Не...

Рукой, в которой была зажата сигарета, Селинин брат похлопал себя по левой стороне груди.

– Моторчик, – бросил он.

– Вы хотите сказать – сердце? А что у вас с сердцем?

– А черт его знает. В детстве был ревматизм. Жуткая боль...

– Так вам, наверно, курить не надо? То есть, наверно, совсем курить нельзя, и вообще?

Врач говорил моей...

– Ха, они наговорят!

Джинни ненадолго умолкла. Очень ненадолго. Потом спросила:

– А что вы делали в Огайо?

– Я? Работал на этом проклятом авиационном заводе.

– Да? – сказала Джинни. – Ну и как вам, понравилось?

– «Ну и как вам понравилось?» – передразнил он с гримасой. – Я был в восторге. Просто обожаю самолеты. Такие *миляги*!

Джинни была слишком заинтересована, чтобы почувствовать себя обиженной.

– И долго вы там работали? На авиационном заводе?

– Да не знаю, черт дери. Три года и месяц.

Он поднялся, подошел к окну и стал смотреть вниз, на улицу, почесывая спину большим пальцем.

– Ты только глянь на них, – сказал он. – Идиоты проклятые.

– Кто?

– Да не знаю. Все!

– Если будете руку опускать, опять кровь пойдет, – сказала Джинни.

Он послушался, поставил левую ногу на широкий подоконник и положил порезанную руку на колено.

– Все тащатся на этот проклятый призывной пункт, – объявил он, продолжая глядеть вниз, на улицу. – В следующий раз будем воевать с эскимосами. Тебе это известно?

– С кем? – удивилась Джинни.

– С *эскимосами*... Разуй уши, черт подери.

– Но почему с эскимосами?

– Да не знаю. Откуда, к чертям собачьим, мне знать? Теперь все старичье погонят. Ребят лет под шестьдесят. Кому нет шестидесяти, брать не будут. Дадут им укороченный рабочий день, и все дела. Сила!

– Ну, *вас* все равно не возьмут, – сказала Джинни без всякой задней мысли, но, не успев закончить фразу, поняла, что говорит не то.

– Знаю, – быстро ответил он и снял ногу с подоконника.

Приподняв раму, он вышвырнул сигарету на улицу. А покончив с этим, повернулся к Джинни:

– Эй, будь другом. Тут придет один малый, скажи – я буду готов через минуту, ладно? Только побреюсь, и все. Идет?

Джинни кивнула.

– Мне поторопить Селину или как? Она знает, что ты здесь?

– Да, знает, – ответила Джинни. – Я не тороплюсь, спасибо.

Брат Селины кивнул. В последний раз внимательно оглядел порез, словно прикидывая, сможет ли в таком состоянии дойти до своей комнаты.

– Почему вы его не залепите? Есть у вас пластырь или еще что-нибудь?

– Не-а. Ладно, не переживай.

– И он побрел из гостиной. Но очень скоро вернулся, неся половину сэндвича.

– На, ешь, – сказал он. – Вкусно.

– Но я, правда, совсем не...

– А ну ешь, черт возьми. Не отравил же я его, и все такое.

Джинни взяла сэндвич.

– Спасибо большое, – сказала она.

– С курицей, – пояснил он, стоя на Джинни и внимательно на нее глядя. – Купил вчера вечером в этой дурацкой кулинарии.

– На вид очень аппетитно.

– Ну вот и ешь.

Джинни откусила кусочек.

– Вкусно, а?

Джинни глотнула с трудом.

– Очень, – сказала она.

Селинин брат кивнул. Он рассеянно озирался, почесывая впалую грудь.

– Ладно, пожалуй, я пойду оденусь... Господи! Звонят. Так ты не робей!

И он вышел.

Оставшись одна, Джинни, не вставая с дивана, огляделась по сторонам: куда бы выбросить или спрятать сэндвич? В коридоре послышались шаги, и она сунула сэндвич в карман пальто.

В гостиную вошел молодой человек лет тридцати с небольшим, не очень высокий, но и не низкий. По его правильным чертам, короткой стрижке, покрою костюма и расцветке фулярового галстука нельзя было сказать сколько-нибудь определенно, кто он такой. Может, он сотрудник – или пытается попасть в сотрудники – какого-нибудь журнала. Может, участвовал в спектакле, который только что провалился в Филадельфии. А может, служит в юридической фирме.

– Привет! – дружелюбно обратился он к Джинни.

– Привет.

– Фрэнклина не видели? – Он бреется. Просил передать, чтобы вы его поджидали. Он вот-вот выйдет.

– Бреется! Боже милостивый! – молодой человек взглянул на свои часы. Потом опустился в оббитое красным шелком кресло, закинул ногу на ногу и поднес ладони к лицу. Прикрыв веки, он принялся тереть их кончиками пальцев, словно совсем обессилел или долго напрягал глаза. – Это было самое ужасное утро в моей жизни, – объявил он, отводя руки от лица. Говорил он горловым, сдавленным голосом, словно был слишком утомлен, чтобы произносить слова на обычном диафрагмальном дыхании.

– Что случилось? – спросила Джинни, разглядывая его.

– О-о, это слишком длинная история. Я никогда не докучаю людям – разве только тем, кого знаю по меньшей мере тысячу лет. – Он рассеянно и недовольно посмотрел в сторону окон. – Да, больше я уже не буду воображать, будто хоть сколько-нибудь разбираюсь в человеческой натуре. Можете передавать мои слова кому угодно.

– Да что же случилось? – снова спросила Джинни.

– О боже. Этот тип, он жил в моей квартире месяцы, месяцы и месяцы. Я о нем даже говорить не хочу... Этот *писатель!* – с удовлетворением произнес он, вероятно, вспомнив хемингуэвский роман, где это слово прозвучало как брань.

– А что он такого сделал?

– Откровенного говоря, я предпочел бы не вдаваться в подробности, – заявил молодой человек. Он вынул сигарету из собственной пачки, оставив без внимания прозрачный ящичек с сигаретами, и закурил от своей зажигалки. В его руках не было ни ловкости, ни чуткости, ни силы. Но каждым их движением он как бы подчеркивал, что есть в них некое особое, только им присущее изящество, и очень это непросто – делать так, чтобы оно не бросалось в глаза. – Я твердо решил даже не думать о нем. Но я просто в ярости, – сказал он. – Появляется, понимаете ли, этот гнусный типчик из Алтуны, штат Пенсильвания, или еще откуда-то из захолустья. Вид такой, будто вот-вот умрет с голоду. Я проявляю такую сердечность и порядочность – пускаю его к себе в квартиру, совершенно *микроскопическую* квартирку, где мне и самому повернуться негде. Знакомлю его со всеми моими друзьями. Позволяю ему заваливать всю квартиру этими ужасными рукописями, окурками, редиской и еще бог знает чем. Знакомлю его с директорами всех нью-йоркских театров. Таскаю его вонючие рубашки в прачечную и обратно. И в довершение всего... – Молодой человек внезапно умолк. – И в награду за всю мою порядочность и сердечность, – снова заговорил он, – этот тип уходит из дому часов в пять утра, даже записки не оставляет и уносит с собой решительно все, на что только смог наложить свои вонючие грязные лапы. – Он сделал паузу, чтобы затаиться, и выпустил дым из рта тонкой свистящей струйкой. – Я не хочу даже говорить об этом. Право же, не хочу. – Он взглянул на Джинни. – У вас прелестное пальто, – сказал он, поднявшись с кресла. Подойдя к Джинни, он взялся за отворот ее пальто и потер его между пальцами. – Прелесть какая. Первый раз после войны вижу *качественную* верблюжью шерсть. Разрешите узнать, где вы его приобрели?

– Мама привезла мне его из Нассо¹.

Молодой человек глубокомысленно кивнул и стал пятиться к своему креслу.

– Это, знаете ли, одно из немногих мест, где можно достать *качественную* верблюжью шерсть. – Он сел. – И долго она там пробыла?

– Что? – спросила Джинни.

– Ваша мама долго там пробыла? Я потому спрашиваю, что *моя* мама провела там декабрь. И часть января. Обычно я езжу с ней, но этот город был такой суматошный – я просто не мог вырваться.

– Она была там в феврале, – сказала Джинни.

– Изумительно. А где она останавливалась? Вы не знаете?

– У моей тетки.

Он кивнул.

– Разрешите узнать, как вас зовут? Полагаю, вы подруга сестры Фрэнклина?

– Мы из одного класса, – сказала Джинни, оставляя первый вопрос без ответа.

– Вы не та знаменитая Мэксин, о которой рассказывает Селина?

– Нет, – ответила Джинни.

Молодой человек вдруг принялся чистить ладонью манжеты брюк.

– Я с ног до головы облеплен собачью шерстью, – пояснил он. – Мама уехала на уикэнд в Вашингтон и водворила своего пса ко мне. Песик, знаете ли, премилый. Но что за гадкие манеры! У вас есть собака?

¹ Известный курорт, ныне столица государства Багамские острова.

– Нет.

– Вообще-то, я считаю – это жестоко, держать их в городе. – Он кончил чистить брюки, уселся поглубже в кресло и снова взглянул на свои ручные часы. – *Случая не было*, чтобы этот человек куда-нибудь поспел вовремя. Мы идем смотреть «Красавицу и чудовище» Как-то – а на этот фильм, знаете ли, непременно надо поспеть вовремя. Потому что иначе весь *шарм* пропадет. Вы его смотрели?

– Нет.

– О, посмотрите непременно. Я его восемь раз видел. Совершенно гениально. Вот уже несколько месяцев пытаюсь затащить на него Фрэнклина. – Он безнадежно покачал головой. – Ну и вкус у него... Во время войны мы вместе работали в одном ужасном месте, и этот человек упорно таскал меня на самые немыслимые фильмы в мире. Мы смотрели гангстерские фильмы, вестерны, мюзиклы...

– А вы тоже работали на авиационном заводе? – спросила Джинни.

– О боже, да. Годы, годы и годы. Только не будем говорить об этом, прошу вас.

– А что у вас тоже плохое сердце?

– Бог мой, нет. Тьфу-тьфу, постучу по дереву. – И он дважды стукнул по ручке кресла. – У меня здоровье крепкое, как у...

В дверях появилась Селина, Джинни вскочила и пошла ей навстречу. Селина успела переодеться, она была уже не в шортах, а в платье – деталь, которая в другое время обозлила бы Джинни.

– Извини, что заставила тебя ждать, – сказала она лживым голосом, – но мне пришлось дожидаться, пока проснется мама... Привет, Эрик!

– Привет, привет!

– Мне все равно денег не нужно, – сказала Джинни, понизив голос так, чтобы ее слышала одна Селина.

– Что?

– Я передумала. Я хочу сказать – ты все время приносишь теннисные мячи, и вообще. Я про это совсем забыла.

– Но ты же говорила – раз они мне ни гроша не стоят...

– Проводи меня до лифта, – быстро сказала Джинни и вышла первая, не прощаясь с Эриком.

– Но, по-моему, ты говорила, что вечером идешь в кино, что тебе нужны деньги, и вообще, – сказала в коридоре Селина.

– Нет, я слишком устала, – ответила Джинни и нагнулась, чтобы собрать свои теннисные пожитки. – Слушай, я после обеда позвоню тебе. У тебя на вечер никаких особых планов нет? Может, я зайду.

Селина смотрела на нее во все глаза.

– Ладно, – сказала она.

Джинни открыла входную дверь и пошла к лифту.

– Познакомилась с твоим братом, – сообщила она, нажав кнопку.

– Да? Вот тип, правда?

– А кстати, что он делает? – словно невзначай осведомилась Джинни. – Работает или еще что?

– Только что уволился. Папа хочет, чтобы он вернулся в колледж, а он не желает.

– Почему?

– Да не знаю. Говорит – ему уже поздно, и вообще.

– Сколько же ему лет?

– Да не знаю. Двадцать четыре, что ли.

Дверцы лифта разошлись в стороны.

– Так я попозже позвоню тебе! – сказала Джинни.

Выйдя из Селининого дома, она пошла в западном направлении, к автобусной остановке на

Лексингтон-авеню. Между Третьей и Лексингтон-авеню она сунула руку в карман пальто, чтобы достать кошелек, и наткнулась на половинку сэндвича. Джинни вынула сэндвич и опустила было руку, чтобы бросить его здесь же, на улице, но потом засунула обратно в карман.

За несколько лет перед тем она три дня не могла набраться духу и выкинуть подаренного ей на пасху цыпленка, которого обнаружила, уже дохлого, на опилках в своей мусорной корзине.

Человек, который смеялся

Перевод: Рита Райт-Ковалева

В 1928 году – девяти лет от роду – я был членом некой организации, носившей название Клуба команчей, и привержен к ней со всем *esprit de corps*². Ежедневно после уроков, ровно в три часа, у выхода школы № 165, на Сто девятой улице, близ Амстердамского авеню, нас, двадцать пять человек команчей, поджидал наш Вождь. Теснясь и толкаясь, мы забирались в маленький «пикап» Вождя, и он вез нас согласно деловой договоренности с нашими родителями в Центральный парк. Все послеобеденное время мы играли в футбол или в бейсбол, в зависимости – правда, относительной – от погоды. В очень дождливые дни наш Вождь обычно водил нас в естественно-исторический музей или в Центральную картинную галерею.

По субботам и большим праздникам Вождь с утра собирал нас по квартирам и в своем доживавшем век «пикапе» вывозил из Манхэттена на сравнительно вольные просторы Ван-Кортлендовского парка или в Палисады. Если нас тянуло к честному спорту, мы ехали в Ван-Кортлендовский парк: там были настоящие площадки и футбольные поля и не грозила опасность встретить в качестве противника детскую коляску или разъяренную старую даму с палкой. Если же сердца команчей тосковали по вольной жизни, мы отправлялись за город в Палисады и там боролись с лишениями. (Помню, однажды, в субботу, я даже заблудился в дебрях между дорожным знаком и просторами вашингтонского моста. Но я не растерялся. Я примостился в тени огромного рекламного щита и, глотая слезы, развернул свой завтрак – для подкрепления сил, смутно надеясь, что Вождь меня отыщет. Вождь всегда находил нас.)

В часы, свободные от команчей, наш Вождь становился просто Джоном Гедсудским со Стейтон-Айленд. Это был предельно застенчивый, тихий юноша лет двадцати двух – двадцати трех, обыкновенный студент-юрист Нью-Йоркского университета, но для меня его образ забываем. Не стану перечислять все его достоинства и добродетели. Скажу мимоходом, что он был членом бойскаутской «Орлиной стаи», чуть не стал лучшим нападающим, почти что чемпионом американской сборной команды 1926 года, и что его как-то раз весьма настойчиво приглашали попробовать свои силы в нью-йоркской бейсбольной команде мастеров. Он был самым беспристрастным и невозмутимым судьей в наших бешеных соревнованиях, мастером по части разжигания и гашения костров, опытным и снисходительным подателем первой помощи. Мы все, от малышей до старших сорванцов, любили и уважали его беспредельно.

Я и сейчас вижу перед собой нашего Вождя таким, каким он был в 1928 году. Будь наши желания в силах наращивать дюймы, он вмиг стал бы у нас великаном. Но жизнь есть жизнь, и росту в нем было всего каких-нибудь пять футов и три-четыре дюйма. Иссиня-черные волосы почти закрывали лоб, нос у него был крупный, заметный, и туловище почти такой же длины, как ноги. Плечи в кожаной куртке казались сильными, хотя и неширокими, сутуловатыми. Но для меня в то время в нашем Вожде нерасторжимо сливались все самые фотогеничные черты лучших киноактеров – и Бака Джонса, и Кена Мейнарда, и Тома Микса.

К вечеру, когда настолько темнело, что проигрывающие оправдывались этим, если мазали или упускали легкие мячи, мы, команчи, упорно и эгоистично эксплуатировали талант Вождя

² Корпоративным духом (франц.).

как рассказчика. Разгоряченные, взвинченные, мы дрались и визгливо ссорились из-за мест в «пикапе», поближе к Вождю. В «пикапе» стояли два параллельных ряда соломенных сидений. Слева были еще три места – самые лучшие: с них можно было видеть даже профиль Вождя, сидевшего за рулем. Когда мы все рассаживались, Вождь тоже забирался в «пикап». Он садился на свое шоферское место, лицом к нам и спиной к рулю, и слабым, но приятным тенорком начинал очередной выпуск «Человека, который смеялся». Стоило ему начать – и мы уже слушали с неослабевающим интересом. Это был самый подходящий рассказ для настоящих команчей. Возможно, что он даже был построен по классическим канонам. Повествование ширилось, захватывало тебя, поглощало все окружающее и вместе с тем оставалось в памяти сжатым, компактным и как бы портативным. Его можно было унести домой и вспоминать, сидя, скажем, в ванне, пока медленно выливается вода.

Единственный сын богатых миссионеров, Человек, который смеялся, был в раннем детстве похищен китайскими бандитами. Когда богатые миссионеры отказались (из религиозных соображений) заплатить выкуп за сына, бандиты, оскорбленные в своих лучших чувствах, сунули голову малыша в тиски и несколько раз повернули соответствующий винт вправо. Объект такого, единственного в своем роде, эксперимента вырос и возмужал, но голова у него осталась лысой, как колено, грушевидной формы, а под носом вместо рта зияло огромное овальное отверстие. Да и вместо носа у него были только следы заросших ноздрей. И потому, когда Человек дышал, жуткое уродливое отверстие под носом расширялось и опадало, в моем представлении, словно огромная амеба. (Вождь скорее наглядно изображал, чем описывал, как дышал Человек.) При виде страшного лица Человека, который смеялся, непривычные люди с ходу падали в обморок. Знакомые избегали его. Как ни странно, бандиты не гнали его от себя – лишь бы он прикрывал лицо тонкой бледно-алой маской, сделанной из лепестков мака. Эта маска не только скрывала от бандитов лицо их приемного сына – благодаря ей они всякий раз знали, где он находится: по вполне понятной причине от него несло опиумом.

Каждое утро, страдая от одиночества, Человек прокрадывался (конечно, грациозно и легко, как кошка) в густой лес, окружавший бандитское логово. Там он дружил со всяким зверьем: с собаками, белыми мышами, орлами, львами, боа-констрикторами, волками. Мало того, там он снимал маску и со всеми зверями разговаривал мягким, мелодичным голосом на их собственном языке. Им он не казался уродом.

Вождю понадобилось месяца два, чтобы дойти до этого места в рассказе. Но отсюда он стал куда щедрее разворачивать события перед восхищенными команчами.

Человек, который смеялся, был мастером подслушивать и вскоре овладел всеми самыми сокровенными тайнами бандитской профессии. Но об этих приемах он был не слишком высокого мнения и незамедлительно изобрел собственную, куда более эффективную систему: сначала изредка, потом чаще он стал разгуливать по Китаю, грабя и оглушая людей, – убивал он только в случае крайней необходимости. Своими изворотливыми и хитрыми преступлениями, в которых, как ни удивительно, проявлялось его исключительное благородство, он завоевал прочную любовь простого народа. Как ни странно, его приемные родители (те самые бандиты, которые толкнули его на стезю преступлений) узнали о его подвигах чуть ли не последними. А когда узнали, их охватила черная зависть. Ночью они гуськом продефилировали мимо постели Человека, думая, что, одурманенный ими, он спит глубоким сном, и по очереди вонзали в тело, покрытое одеялами, свои ножи-мачете. Но жертвой оказалась мамаша главаря банды, чрезвычайно сварливая и неприятная особа. Этот случай только распалил бандитов, жаждавших крови Человека, который смеялся, и в конце концов ему пришлось запереть свою банду в глубокий, но вполне комфортабельно обставленный мавзолей. Изредка они удирали оттуда и мешали ему жить, но все же убивать их он не желал. (Эта его нелепая жалостливость бесила меня до чертиков.)

Вскоре Человек, который смеялся, стал регулярно пересекать китайскую границу, попадая прямо в Париж, французский город, где он при всей своей скромности любил с гениальной изобретательностью изводить некоего Марселя Дюфаржа, всемирно известного сыщика, чахоточного, но весьма остроумного господина. Дюфарж и его дочка (очаровательная, хоть и двуличная

девица) стали злейшими врагами Человека. Много раз они пытались провести и поймать его. Человек вначале поддавался им из чисто спортивного интереса, но потом исчезал без следа, так что никто не мог догадаться, каким образом он удрал. Только изредка он оставлял прощальную записочку в системе парижской канализации, и она незамедлительно доставлялась Дюфаржу в собственные руки. Семья Дюфаржей проводила невероятное количество времени, шлепая по трубам парижской канализации.

Вскоре Человек, который смеялся, стал единоличным владельцем самого грандиозного состояния в мире. Большую часть он анонимно пожертвовал монахам одного местного монастыря – смиренным аскетам, посвятившим жизнь дрессировке немецких овчарок. Остатки своего богатства Человек вкладывал в бриллианты, он небрежно опускал их в изумрудных сейфах на дно Черного моря. Личные его потребности были до смешного ограничены. Он питался исключительно рисом с орлиной кровью и жил в скромном домике, с подземным тиром и гимнастическим залом, на бурном берегу Тибета. С ним жили четверо беззаветно преданных сообщников: легконогий гигант волк, по прозвищу Чернокрылый, симпатичный карлик, по имени Омба, великан монгол, по имени Гонг (язык ему выжгли белые люди), и несказанно прекрасная девушка-евразийка, которая из неразделенной любви к Человеку и постоянного страха за его личную безопасность иногда не брезговала даже нарушением законности. Человек отдавал распоряжения своей команде из-за черной шелковой ширмы. Даже Омбе, симпатичному карлику, не надо было видеть его лицо.

Я мог бы буквально часами – не бойтесь, не буду! – водить вас, читатель, насильно, если понадобится, взад и вперед, через китайско-парижскую границу. До сих пор я считаю Человека, который смеялся, кем-то вроде своего героического предка, ну, скажем, Роберта Э. Ли. Но эти нынешние мечты и сравнить нельзя с теми, что владели мною в 1928 году, когда я считал себя не только прямым потомком Человека, но и его единственным живым и законным наследником. В том, 1928 году я был вовсе не сыном своих родителей, но дьявольски хитрым самозванцем, выжидавшим малейшего просчета с их стороны, чтобы тут же, лучше без насилия, хотя и оно не исключалось, открыть им свое истинное лицо. Но, не желая разбить сердце своей мнимой матери, я предполагал наградить ее в моем преступном мире каким-то, пока неопределенным, но, несомненно, королевским званием. Однако самым главным для меня в 1928 году была постоянная бдительность. Играть им всем на руку. Чистить зубы, причесываться. Изо всех сил скрывать свой природный, дьявольски жуткий смех.

В действительности я был далеко не единственным живым потомком и законным наследником Человек, который смеялся. В клубе было двадцать пять команд, двадцать пять живых потомков и законных наследников Человека, и мы все зловещими незнакомцами кружили по городу, чуя возможного врага в каждом лифте, сдавленным, но отчетливым шепотом отдавали приказание на ухо своему спаниелю и, вытянув указательный палец, брали на мушку учителей арифметики. И напряженно, неустанно выжидали, когда же наконец представится случай вселить ужас и восхищение в чью-то простую душу.

Однажды, в февральский день, открывший сезон бейсбола для команд, я узрел новое украшение в машине нашего Вождя. Над зеркальцем ветрового стекла появилась маленькая фотография девушки в студенческой шапочке и мантии. Мне показалось, что эта фотография нарушает общий, чисто мужской стиль нашего «пикапа», и я прямо спросил Вождя, кто это такая. Сначала он помялся, но наконец открыл мне, что это девушка. Я спросил, как ее зовут. Помедлив, он нехотя ответил: «Мэри Хадсон». Я спросил: в кино она, что ли? Он сказал – нет, она училась в университете, в Уэлсли-колледже. После некоторого размышления он добавил, что Уэлсли-колледж – очень знаменитый колледж. Я спросил его – зачем ему эта карточка тут, в нашей машине? Он слегка пожал плечами, словно хотел, как мне показалось, создать впечатление, что фотографию ему вроде как бы навязали.

Но в ближайшие две-три недели эта фотография, силой или случаем навязанная нашему Вождю, так и оставалась в машине. Ее не выметали ни с конфетными бумажками, где был изображен Бэб Рут, ни с палочками от леденцов. И мы, команчи, как-то к ней привыкли. Постепенно

мы ее стали замечать не больше чем спидометр.

Но однажды по дороге в парк Вождь остановил машину на Пятой авеню в районе Шестидесятых улиц, более чем в полумиле от нашей бейсбольной площадки. Двадцать непрошенных советчиков тут же потребовали объяснений, но Вождь промолчал. Вместо ответа он принял обычную позу рассказчика и не ко времени стал нас угощать продолжением истории Человека, который смеялся. Но не успел он начать, как в дверцу машины постучались. В тот день все рефлексy нашего Вождя были молниеносными. Он буквально перевернулся вокруг собственной оси, дернул ручку дверцы, и девушка в меховой шубке забралась в наш «пикап».

Сразу, без раздумья, я вспоминаю только трех девушек в своей жизни, которые с первого же взгляда поразили меня безусловной, безоговорочной красотой. Одну я видел на пляже в Джонс-Бич в 1936 году – худенькая девочка в черном купальнике, которая никак не могла закрыть оранжевый зонт. Вторая мне встретилась в 1939 году на пароходе, в Карибском море, – она еще бросила зажигалку в дельфина. А третьей была девушка нашего Вождя – Мэри Хадсон.

– Я очень опоздала? – спросила она, улыбаясь Вождю.

С тем же успехом она могла бы спросить: "Я очень некрасивая?"

– Нет! – сказал наш Вождь. Растерянным взглядом он обвел команчей, сидевших поблизости от него, и подал знак – уступить место. Мэри Хадсон села между мной и мальчиком по имени Эдгар – фамилии не помню – у его дяди лучший друг был бутлегером. Мы потеснились ради нее как только могли. Машина двинулась, вильнув, будто ее вел новичок. Все команчи, как один человек, молчали.

На обратном пути к нашей обычной стоянке Мэри Хадсон наклонилась к Вождю и стала восторженно отчитываться перед ним – на какие поезда она опоздала и на какой поезд попала; жила она в Дугластоне, на Лонг-Айленде.

Наш Вождь очень нервничал. Он не только никак не поддерживал разговор, он почти не слушал, что она говорила. Помню, что головка с рычага переключения передач отлетела у него под рукой.

Когда мы вышли из «пикапа», Мэри Хадсон тоже увязалась за нами. Не сомневаюсь, что, когда мы подошли к бейсбольной площадке, на лицах всех команчей читалась одна мысль: «Есть же такие девчонки, не знают, когда им пора убираться домой!» И в довершение всего, именно в ту минуту, как мы с другим команчем бросали монетку, чтобы разыграть поле между команчами, Мэри Хадсон робко выразила желание принять участие в игре. Ответ был более чем ясен. До этой минуты команчи с недоумением смотрели на эту особу женского пола, теперь в их взглядах вспыхнуло возмущение. Она же улыбнулась нам в ответ. Мы несколько растерялись. Тут вступился наш Вождь, проявив скрытую ранее способность теряться в некоторых обстоятельствах. Отведя Мэри Хадсон в сторону, чтобы не слышали команчи, он безуспешно пытался поговорить с ней серьезно и внушительно.

Но Мэри Хадсон прервала его, и ее голос отчетливо услышали все команчи.

– Но раз мне хочется! – сказала она. – Мне в самом деле хочется поиграть!

Вождь кивнул и снова стал ее убеждать. Он показал на поле, мокрое, все в ямах. Он взял биты и продемонстрировал, какая она тяжелая.

– Все равно! – громко сказала Мэри Хадсон. – Зря я, что ли, приехала в Нью-Йорк, будто бы к зубному врачу, и все такое. Нет, я хочу играть!

Вождь снова покачал головой, но сдался. Он медленно подошел туда, где ждали Смелчаки и Воители – так назывались наши команды, – и посмотрел на меня. Я был капитаном Воителей. Он напомнил мне, что мой центральный принимающий сидит дома больной, и предложил в качестве замены Мэри Хадсон. Я сказал, что мне замена вообще не нужна. А Вождь сказал, а почему, черт подери? Я ошолбенел. Впервые в жизни Вождь при нас выругался. Хуже того, я видел, что Мэри Хадсон мне улыбается. Чтобы прийти в себя, я поднял камешек и метнул его в дерево.

Мы подавали первые. Сначала центральному принимающему делать было нечего. Из первого ряда я изредка оглядывался назад. И каждый раз Мэри Хадсон весело махала мне рукой. Рука была в бейсбольной рукавице – со стальным упорством Мэри настояла на своем и надела

рукавицу. Ужасающее зрелище!

У нас в команде Мэри Хадсон была по мячу девятой. Когда я ей об этом сообщил, она сделала гримасу и сказала:

– Хорошо, только поторопитесь! – И, как ни странно, мы действительно заторопились. Пришла ее очередь. Для такого случая она сняла меховую шубку и бейсбольную рукавицу и встала на свое место в темно-коричневом платье. Когда я подал ей биту, она спросила, почему она такая тяжеленная. Вождь забеспокоился и перешел с судейского места к ней поближе. Он велел Мэри Хадсон упереть конец биты в правое плечо.

– А я уперла, – сказала она. Он велел ей не сжимать биту изо всей силы. – А я и не сжимаю! – сказала она. Он велел ей смотреть прямо на мяч. – Я и смотрю! – сказала она. – Ну-ка, посторонитесь!

Мощным ударом она отбила первый же посланный ей мяч – он полетел через голову левого крайнего. Даже для обычного удара это было бы отлично, но Мэри Хадсон сразу вышла на третью позицию – вот так, запросто.

Во мне удивление сначала сменилось испугом, а потом – восторгом, и, только оправившись от всех этих чувств, я посмотрел на нашего Вождя. Казалось, что он не стоит за подающим, а парит над ним в воздухе. Он был бесконечно счастлив. Мэри Хадсон махала мне рукой с дальней позиции. Я помахал ей в ответ. Тут меня ничто не могло остановить. Дело было не в умении работать битой, она и махать человеку с дальней позиции умела никак не хуже. До самого конца игры она каждый раз была здорово. Почему-то ей не нравилась первая позиция, она там никак не могла устоять. Трижды она переходила на вторую.

Принимала она из рук вон плохо, но мы уже так разыгрались, что некогда было обращать внимание. Конечно, она могла бы играть лучше, если бы отбивала чем угодно, только не бейсбольной рукавицей. А она никак не желала с ней расстаться. Нет, говорит, она такая миленькая.

Весь месяц она играла в бейсбол с команчами раза два в неделю (как видно, в эти дни она приезжала к зубному врачу). Иногда она встречала «пикап» вовремя, иногда опаздывала. То она трещала в машине без умолку, то молчала и курила свои сигареты с фильтром. А когда я сидел с ней рядом, я чувствовал, что он нее пахнет чудесными духами.

Однажды, холодным апрельским днем, наш Вождь, подобрав нас, как всегда, на углу Сто девятой и Амстердамской, повернул машину на восток у Сто десятой улице, и поехал обычным путем вниз по Пятой авеню. Но волосы у него были приглажены мокрой щеткой, вместо кожаной куртки на нем красовалось пальто, и я, само собой разумеется, предположил, что назначена встреча с Мэри Хадсон. А когда мы проскочили наш обычный въезд в парк, я уже не сомневался. Вождь остановил машину, как и полагалось, на углу одной из Шестидесятых улиц. И чтобы убить время без вреда для команчей, он сел к нам лицом и выдал новую серию приключений «Человек, который смеялся». Помню эту серию до мельчайших подробностей и должен вкратце пересказать ее.

Стечением обстоятельств лучший друг Человека, его ручной волк-гигант, Чернокрыл, попал в ловушку, хитро и коварно подстроенную Дюфаржами. Зная благородство Человека и его неизменную верность друзьям, Дюфаржи предложили ему освободить Чернокрылого в обмен на него самого. Безоговорочно поверив им, Человек согласился на эти условия (иногда в мелочах гениальный механизм его мозга по каким-то таинственным причинам не срабатывал). Было условлено, что Дюфаржи встретятся с Человеком в полночь на полянке в дремучем лесу, окружавшем Париж, и там при свете луны они выпустят Чернокрылого. Однако Дюфаржи и не подумали отпускать Чернокрылого, которого они боялись и ненавидели. В назначенную ночь они привязали вместо Чернокрылого другого, подставного волка, выкрасив ему левую заднюю лапу в белоснежный цвет – для полного сходства с Чернокрылым.

Но Дюфаржи позабыли о двух вещах: о чувствительном сердце человека и о его знании волчьего языка. Лишь только он дал дочери Дюфаржа привязать себя колючей проволокой к дереву, как по зову души его прекрасный мелодичный голос зазвучал прощальным напутствием тот, кого он принял за своего друга. Подставной волк, стоявший в нескольких шагах на осве-

щенной лунной поляне, был поражен лингвистическими познаниями незнакомца и вежливо выслушал последние напутствия как личного, так и профессионального характера. Но потом ему это надоело, и он стал переступать с лапы на лапу. Внезапно он довольно резким тоном перебил Человека, сообщив, что, во-первых, зовут его не Темнокрылый, и не Чернокрылый, и не Сероногий, и вообще не дурацкой кличкой: зовут его Арман, а во-вторых, он никогда в жизни не был в Китае и не испытывает ни малейшего желания попасть туда.

В справедливом гневе Человек сдернул языком маску и при лунном свете явился Дюфаржам во всей наготы своего лица. Мадемуазель Дюфарж тут же хлопнулась в обморок. Ее отцу повезло больше. Его, к счастью, одолел обычный припадок чахоточного кашля, и он избежал смертельного испуга. Когда припадок прошел и он увидел озаренное луной бесчувственное тело дочери, он тут же все понял. Закрыв глаза ладонью, он выпустил всю обойму из пистолета прямо на звук тяжелого, свистящего дыхания Человека.

На этом рассказ кончился до следующего выпуска. Вождь вынул из карманчика свои долларовые часы, взглянул на них, повернулся к рулю и завел мотор. Я проверил и свои часы. Было почти половина пятого. Когда машина тронулась, я спросил Вождя – разве мы не будем ждать Мэри Хадсон? Он мне не ответил, и, прежде чем я успел повторить вопрос, он обернулся и сказал, обращаясь ко всем:

– А ну, давайте-ка помолчим! Тихо! – Как ни кинь, но, по существу, этот приказ был бессмыслицей. В машине и раньше, и сейчас стояла абсолютная тишина. Все думали о передрыге, в которую попал Человек. Нет, мы о нем уже давно перестали тревожиться – слишком мы в него верили, – но, когда он подвергался опасности, нам было не до разговоров.

Мы уже сыграли три или четыре тайма, когда я вдруг издали увидел Мэри Хадсон. Она сидела на скамейке, шагах в ста налево от меня, стиснутая двумя няньками с колясочками. На ней была меховая шубка, она курила сигарету и как будто смотрела в нашу сторону. Я заволновался – такие открытие! – и крикнул об этом нашему Вождю, стоящему за подававшим. Он поспешил ко мне, стараясь не бежать.

«Где?» – спросил он. Я показал где. Он посмотрел в ту сторону, потом сказал: «Вернусь через минутку». И ушел с поля. Уходил он медленно, расстегнув пальто и засунув руки в карманы брюк. Я сел у первой позиции и стал смотреть ему вслед. Когда он подходил к Мэри Хадсон, пальто у него было уже застегнуто доверху и руки вытянуты по швам.

Он постоял над ней минут пять, кажется, он что-то ей сказал. Потом Мэри Хадсон встала, и оба пошли к площадке. На ходу они молчали и ни разу не взглянули друг на друга. Когда они подошли и Вождь снова встал на свое место, я заорал:

– А она будет играть?

Он сказал – молчи в тряпочку. Я помолчал в тряпочку, но глаз с Мэри Хадсон не спускал. Она медленно прошла вдоль площадки, засунув руки в карманы меховой шубки, и наконец села на сдвинутую с места скамейку, за третьей позицией. Она закурила сигарету и закинула ногу на ногу.

Когда били Воители, я подошел к ее скамейке и спросил, не хочет ли она поиграть на левом краю. Она покачала головой:

Я спросил:

– У вас насморк? – Но она опять помотала головой.

Я сказал, что у меня на левом краю играть совершенно некому. Я ей объяснил, что у меня один и тот же мальчик играет и в центре, и слева. На это сообщение никакого ответа не последовало. Я подбросил кверху свою рукавицу, пытаясь отбить ее головой, но она упала в грязь. Я вытер рукавицу о штаны и спросил Мэри Хадсон: не придет ли она к нам домой, в гости, к обеду? Я ей объяснил, что наш Вождь часто бывает у нас в гостях.

– Оставь меня в покое, – сказала она. – Пожалуйста, оставь меня в покое.

Я посмотрел на нее во все глаза, потом пошел к скамье, где сидели мои Воители, и, вынув мандаринку из кармана, стал подбрасывать ее в воздух. Не дойдя до штрафной линии, я повернул и стал пятиться задом, глядя на Мэри Хадсон и продолжая подкидывать мандаринку. Я по-

нения не имел, что же происходит между ней и нашим Вождем, да и теперь только чутьем смутно догадываюсь, и все же во мне росла уверенность, что Мэри Хадсон навсегда выбыла из племени команчей. Эта уверенность независимо от внешних обстоятельств так подорвала даже нормальную способность пятиться задом, что я налетел прямо на детскую коляску.

После следующего тайма играть стало уже темновато. Мы закончили игру и стали подбирать снаряжение. Я еще успел разглядеть Мэри Хадсон – она стояла у края площадки и плакала. Вождь придержал было ее за рукав шубки, но она вырвалась. Она побежала от площадки по цементной дорожке и бежала, пока не скрылась из виду. Вождь за ней не побежал. Он только провожал ее глазами, пока она не скрылась. Потом повернулся, вышел на поле и поднял обе наших биты – мы всегда оставляли биты, и он их относил в машину. Я подошел к нему и спросил: может, они с Мэри Хадсон поссорились? Он сказал: – Не суй нос куда не положено.

Как всегда, мы, команчи, с криком и визгом бежали к машине и теребя друг друга; все отлично знали, что сейчас опять подходит время для рассказа о Человеке, который смеялся. Перебегая Пятую авеню, кто-то уронил свой запасной свитер, и, споткнувшись об него, я растянулся во весь рост. Добежав до машины, я увидел, что лучшие места уже успели занять, и мне пришлось сидеть в среднем ряду. Расстроившись, я двинул соседа справа локтем под ребро, потом выглянул – и увидал, как наш Вождь переходит улицу. Было еще не совсем темно, но уже смеркалось, как всегда в четверть шестого. Наш Вождь переходил улицу с поднятым воротником, с битами под мышкой, уставившись на мостовую. Его черная шевелюра, так хорошо приглаженная мокрой щеткой, теперь высохла и развеялась по ветру. Помню, я пожалел, что у него нет перчаток.

Как всегда при его появлении, в машине наступила тишина. То есть тишина относительная, как в театре, когда свет начинает гаснуть. Кто торопливым шепотом заканчивал разговор, кто сразу обрывал его. И все-таки первое, что сказал наш Вождь, было:

– Тихо, ребята, а то рассказывать не буду.

В ту же секунду воцарилась полнейшая тишина, так что Вождю только и оставалось сесть на место и приготовиться к рассказу. Усевшись, он вынул носовой платок и тщательно высморкал сначала одну ноздрю, потом другую. Мы смотрели на это зрелище терпеливо и даже с некоторым интересом. Высморкавшись, он аккуратно сложил платок вчетверо и засунул в карман. И тут последовал новый выпуск рассказа о Человеке, который смеялся. Продолжался он не более пяти минут.

...Четыре пули Дюфаржа вонзились в Человека, две из них – прямо в сердце. Когда Дюфарж, все еще закрывавший ладонью глаза, чтобы не видеть лицо Человека, услышал, как оттуда, куда он целил, доносятся предсмертные стоны, он возликовал. Сердце злодея радостно колотилось, он бросился к дочери, лежавшей в обмороке, и привел ее в чувство. Вне себя от радости они оба с храбростью трусов только теперь осмелились взглянуть на Человека, который смеялся. Его голова поникла в предсмертной муке, подбородок касался окровавленной груди. Медленно, жадно отец и дочь приближались к своей добыче. Но их ожидал немалый сюрприз. Человек во все не умер, он тайными приемами сокращал мускулы живота. И когда Дюфаржи приблизились, он вдруг поднял голову, захохотал гробовым голосом и аккуратно, даже педантично, выплюнул одну за другой все четыре пули. Этот подвиг так поразил Дюфаржей, что сердца у них буквально лопнули, и оба, отец и дочь, замертво упали к ногам Человека, который смеялся. (Если выпуск все равно предполагалось сделать коротким, можно было бы остановиться на этом: команчи легко нашли бы объяснение внезапной смерти Дюфаржей. Но рассказ продолжался.)

День за днем Человек стоял, привязанный к дереву колючей проволокой, а трупы Дюфаржей разлагались у его ног. Никогда еще смерть не подбиралась к нему так близко – его раны кровоточили, а запасов орлиной крови под рукой не было. И вот однажды охрипшим, но задумчивым голосом он воззвал к лесным зверям, прося их помочь ему. Он поручил им позвать к нему симпатичного карлика Омбу. И они позвали. Но длинна дорога через парижско-китайскую границу и обратно, и, когда Омба прибыл с аптечкой и свежим запасом орлиной крови, Человек уже потерял сознание. Прежде всего Омба совершил акт милосердия: он поднял маску своего господина, которая валялась на кишасе червями теле мадемуазель Дюфарж. Он почтительно

прикрыл жуткие черты лица и лишь тогда стал перевязывать раны.

Когда Человек, который смеялся, наконец приоткрыл заплывшие глаза, Омба торопливо поднес к маске сосуд с орлиной кровью. Но Человек не притронулся к нему. Слабым голосом он произнес имя своего любимца – Чернокрылого. Омба склонил голову – она тоже была не слишком красивой – и открыл своему господину, что Дюфаржи убили верного волка, Чернокрылого. Горестный, душераздирающий стон вырвался из груди Человека. Слабой рукой он потянулся к сосуду с орлиной кровью и раздавил его. Остатки крови тонкой струйкой побежали по его пальцам; он приказал Омбе отвернуться, и Омба, рыдая, повиновался ему. И перед тем как обратить лицо к залитой кровью земле, Человек, который смеялся, в предсмертной судороге сдернул маску.

На этом повествование, разумеется, и кончилось. (Продолжения никогда не было.) Наш Вождь тронул машину. Через проход от меня Вилли Уолш, самый младший из команчей горько заплакал. Никто не сказал ему – замолчи. Как сейчас помню, и у меня дрожали коленки.

Через несколько минут, выйдя из машины, я вдруг увидел, как у подножия фонарного столба бьется по ветру обрывок тонкой алой оберточной бумаги. Он был очень похож на ту маску из лепестков мака. Когда я пришел домой, зубы у меня безудержно стучали, и мне тут же велели лечь в постель.

В лодке

Перевод: Нора Галь

Шел пятый час, и золотой осенний день уже клонился к вечеру. Сандра, кухарка, поглядела из окна в сторону озера и отошла, поджав губы, – с полудня она проделывала это, должно быть, раз двадцать. На этот раз, отходя от окна, она в рассеянности развязала и вновь завязала на себе фартук, пытаясь затянуть его потуже, насколько позволяла ее необъятная талия. Приведя в порядок свое форменное одеяние, она вернулась к кухонному столу и уселась напротив миссис Снелл. Миссис Снелл уже покончила с уборкой и глажкой и, как обычно перед уходом, пила чай. Миссис Снелл была в шляпе. Это оригинальное сооружение из черного фетра она не снимала не только все минувшее лето, но три лета подряд – в любую жару, при любых обстоятельствах, склоняясь над бесчисленными гладильными досками и орудуя бесчисленными пылесосами. Ярлык фирмы «Карнеги» еще держался на подкладке – поблекший, но, смело можно сказать, непобеженный.

– Больно надо мне из-за этого расстраиваться, – наверно, уже в пятый или шестой раз объявляла Сандра не столько миссис Снелл, сколько самой себе. – Так уж я решила. Не стану я расстраиваться!

– И правильно, – сказала миссис Снелл. – Я бы тоже не стала. Нипочем не стала бы. Передай-ка мне мою сумку, голубушка.

Кожаная сумка, до невозможности потертая, но с ярлыком внутри не менее внушительная, чем на подкладке шляпы, лежала в буфете. Сандра дотянулась до нее не вставая. Подала сумку через стол владелице, та открыла ее, достала пачку «ментоловых» сигарет и картонку спичек «Сторк-клуб». Закурила, потом поднесла к губам чашку, но сейчас же снова поставила ее на блюдце.

– Да что это мой чай никак не остынет, я из-за него автобус пропущу. – Она поглядела на Сандру, которая мрачно уставилась на сверкающую шеренгу кастрюль у стены. – Брось ты расстраиваться! – приказала миссис Снелл. – Что толку расстраиваться? Или он ей скажет или не скажет. И все тут. А что толку расстраиваться?

– Я и не расстраиваюсь, – ответила Сандра. – Даже и не думаю. Просто от этого ребенка с ума сойти можно, так и шныряет по всему дому. Да все тишком, его и не услышишь. Вот только на днях я лущила бобы – и чуть не наступила ему на руку. Он сидел вон тут, под столом.

– Ну и что? Не стала бы я расстраиваться.

– То есть словечка сказать нельзя, все на него оглядывайся, – пожаловалась Сандра. – С ума сойти.

– Не могу я пить кипяток, – сказала миссис Снелл. – Да, прямо ужас что такое. Когда словечка нельзя сказать, и вообще.

– С ума сойти! Верно вам говорю. Прямо с ума он меня сводит. – Сандра смахнула с колен воображаемые крошки и сердито фыркнула: – В четыре-то года!

– И ведь хорошенький мальчонка, – сказала миссис Снелл. – Глазищи карие, и вообще.

Сандра снова фыркнула:

– Нос-то у него будет отцовский. – Она взяла свою чашку и стала пить, ничуть не обжигаясь. – Уж и не знаю, чего это они вздумали торчать тут весь октябрь, – проворчала она и отставила чашку. – Никто из них больше и к воде-то не подходит, верно вам говорю. Сама не купается, и мальчонка не купается. Никто теперь не купается. И даже на своей дурацкой лодке они больше не плавают. Только деньги задаром потратили.

– И как вы пьете такой кипяток? Я и пригубить-то не могу.

Сандра злобно уставилась в стену.

– Я бы хоть сейчас вернулась в город. Право слово. Терпеть не могу эту дыру. – Она неприязненно взглянула на миссис Снелл. – Вам-то ничего, вы круглый год тут живете. У вас тут и знакомства, и вообще. Вам все одно, что здесь, что в городе.

– Хоть живьем сварюсь, а чай выпью, – сказала миссис Снелл, поглядев на часы над электрической плитой.

– А что бы вы сделали на моем месте? – в упор спросила Сандра. – Я говорю, вы бы что сделали? Скажите по правде.

Вот теперь миссис Снелл была в своей стихии. Она тотчас отставила чашку.

– Ну, – начала она, – первым долгом я не стала бы расстраиваться. Уж я бы сразу стала искать другое...

– А я и не расстраиваюсь, – перебила Сандра.

– Знаю, знаю, но уж я подыскала бы себе...

Распахнулась дверь, и в кухню вошла Бу-Бу Танненбаум, хозяйка дома. Была она лет двадцати пяти, маленькая, худощавая, как мальчишка; сухие, бесцветные, не по моде подстриженные волосы заложены назад, за чересчур большие уши. Весь наряд – черный свитер, брюки чуть ниже колен, носки да босоножки. Прозвище, конечно, нелепое, и хорошенькой ее тоже не назовешь, но такие вот живые, переменчивые рожицы не забываются, – в своем роде она была просто чудо! Она сразу направилась к холодильнику, открыла его. Заглянула внутрь, расставив ноги, упершись руками в коленки, и, довольно немзыкально насвистывая сквозь зубы, легонько покачиваясь в такт свисту. Сандра и миссис Снелл молчали. Миссис Снелл неторопливо вынула сигарету изо рта.

– Сандра...

– Да, мэм? – Сандра настороженно смотрела поверх шляпы миссис Снелл.

– У вас разве нет больше пикулей? Я хотела ему отнести.

– Он все съел, – без запинки доложила Сандра. – Вчера перед сном съел. Там только две штучки и оставались.

– А-а. Ладно, буду на станции – куплю еще. Я думала, может быть удастся выманить его из лодки. – Бу-Бу захлопнула дверцу холодильника, отошла к окну и посмотрела в сторону озера. – Нужно еще что-нибудь купить? – спросила она, глядя в окно.

– Только хлеба.

– Я положила вам чек на столик в прихожей, миссис Снелл. Благодарю вас.

– Очень приятно, – сказала миссис Снелл. – Говорят, Лайонел сбежал из дому. – Она хихикнула.

– Похоже, что так, – сказала Бу-Бу и сунула руки в карманы.

– Далеко-то он не бежит. – И миссис Снелл опять хихикнула.

Не отходя от окна, Бу-Бу слегка повернулась, так чтоб не стоять совсем уж спиной к жен-

щинам за столом.

– Да, – сказала она. Заправила за ухо прядь волос и продолжала: – он удирает из дому с двух лет. Но пока не очень далеко. Самое дальнее – в городе по крайней мере – он забрел раз на Мэлл в Центральном парке. За два квартала от нашего дома. А самое ближнее – просто спрятался в парадном. Там и застрял – хотел попроститься с отцом.

Женщины у стола засмеялись.

– Мэлл – это такое место в Нью-Йорке, там все катаются на коньках, – любезно пояснила Сандра, наклоняясь к миссис Снелл. – Детишки, и вообще.

– А-а, – сказала миссис Снелл.

– Ему только-только исполнилось три. Как раз в прошлом году, – сказала Бу-Бу, доставая из кармана брюк сигареты и спички. Пока она закуривала, обе женщины не сводили с нее глаз. – Вот был переполох! Пришлось поднять на ноги всю полицию.

– И нашли его? – спросила миссис Снелл.

– Ясно, нашли, – презрительно сказала Сандра. – А вы как думали?

– Нашли его уже ночью, в двенадцатом часу, а дело было... когда же это... да, в середине февраля. В парке ни детей, никого не осталось. Разве что, может быть, бандиты, бродяги да какие-нибудь чокнутые. Он сидел на эстраде, где днем играет оркестр, и катал камешек взад-вперед по щели в полу. Замерз до полусмерти, и уж вид у него был...

– Боже милостивый! – сказала миссис Снелл. – И с чего это он? То есть, я говорю, чего это он из дому бегаёт?

Бу-Бу пустила кривое колечко дыма, и оно расплылось по оконному стеклу.

– В тот день в парке кто-то из детей ни с того ни с сего обозвал его вонючкой. По крайней мере, мы думаем, что дело в этом. Право, не знаю, миссис Снелл. Сама не понимаю.

– И давно это с ним? – спросила миссис Снелл. – То есть, я говорю, давно это с ним?

– Да вот, когда ему было два с половиной, он спрятался под раковиной в подвале, – обстоятельно ответила Бу-Бу. – Мы живем в большом доме, а в подвале прачечная. Какая-то Наоми, его подружка, сказала ему, что у нее в термосе сидит червяк. По крайней мере, мы больше ничего от него не добились. – Бу-Бу вздохнула и отошла от окна, на кончике ее сигареты вырос пепел. Она шагнула к двери. – Попробую еще раз, – сказала она на прощанье.

Сандра и миссис Снелл засмеялись.

– Поторапливайтесь, Милдред, – все еще смеясь, сказала Сандра миссис Снелл. – А то автобус прозевааете.

Бу-Бу затворила за собой забранную проволочной сеткой дверь.

Она стояла на лужайке, которая отлого спускалась к озеру; низкое предвечернее солнце светило ей в спину. Ядрах в двухстах впереди на корме отцовского бота сидел ее сын Лайонел. Паруса были сняты, бот покачивался на привязи под прямым углом к мосткам, у самого их конца. Футы в пяти-десяти за ним плавала забытая или заброшенная водная лыжа, но нигде не видно было катающихся; лишь вдалеке уходил к Парусной бухте пассажирский катер. Почему-то Бу-Бу никак не удавалось толком разглядеть Лайонела. Солнце хоть и не очень грело, но светило так ярко, что издали все – и мальчик, и лодка – казалось смутным, расплывчатым, как очертания палки в воде. Спустя минуту-другую Бу-Бу перестала всматриваться. Смяла сигарету, отшвырнула ее и зашагала к мосткам.

Стоял октябрь, и доски уже дышали жаром в лицо. Бу-Бу шла по мосткам, насвистывая сквозь зубы «Малютку из Кентукки». Дошла до конца мостков, присела на корточки с самого края и посмотрела на сына. До него можно было бы дотянуться веслом. Он не поднял глаз.

– Эй, на борту! – позвала Бу-Бу. – Эй, друг! Пират! Старый пес! А вот и я!

Лайонел все не поднимал глаз, но ему вдруг понадобилось показать, какой он искусный моряк. Он перекинул незакрепленный румпель до отказа вправо и сейчас же снова прижал его к боку. Но не отрывал глаз от палубы.

– Это я, – сказала Бу-Бу. – Вице-адмирал Танненбаум. Урожденная Гласс. Прибыл проверить стермафоры.

– Ты не адмирал, – слышалось в ответ. – Ты женщина.

Когда Лайонел говорил, ему почти всегда посреди фразы не хватало дыхания, и самое важное слово подчас звучало не громче, а тише других. Бу-Бу, казалось, не просто вслушивалась, но и сторожко ловила каждый звук.

– Кто тебе сказал? – спросила она. – Кто сказал тебе, что я не адмирал?

Лайонел что-то ответил, но совсем уж неслышно.

– Что? – переспросила Бу-Бу.

– Папа.

Бу-Бу все еще сидела на корточках, расставленные коленки торчали углами; левой рукой она коснулась дощатого настила: не так-то просто было сохранять равновесие.

– Твой папа славный малый, – сказала она. – Только он, должно быть, самая сухопутная крыса на свете. Совершенно верно, на суше я женщина, это чистая правда. Но истинное мое призвание было, есть и будет...

– Ты не адмирал, – сказал Лайонел.

– Как вы сказали?

– Ты не адмирал. Ты все равно женщина.

Разговор прервался. Лайонел снова стал менять курс своего судна, он схватился за румпель обеими руками. На нем были шорты цвета хаки и чистая белая рубашка с короткими рукавами и открытым воротом; впереди на рубашке рисунок: страус Джером играет на скрипке. Мальчик сильно загорел, и его волосы, совсем такие же, как у матери, на макушке заметно выпцвели.

– Очень многие думают, что я не адмирал, – сказала Бу-Бу, приглядываясь к сыну. – Потому что я не ору об этом на всех перекрестках. – Стараясь не потерять равновесия, она вытащила из кармана сигареты и спички. – Мне и неохота толковать с людьми про то, в каком я чине. Да еще с маленькими мальчиками, которые даже не смотрят на меня, когда я с ними разговариваю. За это, пожалуй, еще с флота выгонят с позором.

Так и не закулив, она неожиданно встала, выпрямилась во весь рост, сомкнула кольцом большой и указательный пальцы правой руки и, поднеся их к губам, точно игрушечную трубу, продудела что-то вроде сигнала. Лайонел вскинул голову. Вероятно, он знал, что сигнал не настоящий, и все-таки весь встрепенулся, даже рот приоткрыл. Три раза кряду без перерыва Бу-Бу протрубила сигнал – нечто среднее между утренней и вечерней зорей. Потом торжественно отдала честь дальнему берегу. И когда наконец опять с сожалением присела на корточки на краю мостков, по лицу ее видно было, что ее до глубины души взволновал благородный обычай, недоступный простым смертным и маленьким мальчикам. Она задумчиво созерцала воображаемую даль озера, потом словно бы вспомнила, что она здесь не одна. И важно поглядела вниз, на Лайонела, который все еще сидел, раскрыв рот.

– Это тайный сигнал, слышать его разрешается одним только адмиралам. – Она закурила и, выпустив длинную тонкую струю дыма, задула спичку. – Если бы кто-нибудь узнал, что я дала этот сигнал при тебе... – Она покачала головой. И снова зорким глазом морского волка окинула горизонт.

– Потруби еще.

– Не положено.

– Почему?

Бу-Бу пожала плечами.

– Тут вертится слишком много всяких мичманов, это раз. – Она переменила позу и уселась, скрестив ноги, как индеец. Подтянула носки. И продолжала деловито: – Ну, вот что. Скажи, почему ты убегаешь из дому, и я протрублю тебе все тайные сигналы, какие мне известны. Ладно?

Лайонел тотчас опустил глаза.

– Нет, – сказал он.

– Почему?

– Потому.

– Почему «потому»?

– Потому что не хочу, – сказал Лайонел и решительно перевел руль.

Бу-Бу заслонила правую руку от солнца, ее слепило.

– Ты мне говорил, что больше не будешь удирать из дому, – сказала она. – Мы ведь об этом говорили, и ты сказал, что не будешь. Ты мне обещал.

Лайонел что-то сказал в ответ, но слишком тихо.

– Что? – переспросила Бу-Бу.

– Я не обещал.

– Нет, обещал. Ты дал слово.

Лайонел опять принялся работать рулем.

– Если ты адмирал, – сказал он, – где же твой флот?

– Мой флот? Вот хорошо, что ты об этом спросил, – сказала Бу-Бу и хотела спуститься в лодку.

– Назад! – приказал Лайонел, но голос его звучал не очень уверенно и глаз он не поднял. – Сюда никому нельзя.

– Нельзя? – Бу-Бу, которая уже ступила на нос лодки, послушно отдернула ногу. – Совсем никому нельзя? – Она снова уселась на мостках по-индейски. – А почему?

Лайонел что-то ответил, но опять слишком тихо.

– Что? – переспросила Бу-Бу.

– Потому что не разрешается.

Долгую минуту Бу-Бу молча смотрела на мальчика.

– Мне очень грустно это слышать, – сказала она наконец. – Мне так хотелось к тебе в лодку. Я по тебе соскучилась. Очень сильно соскучилась. Целый день я сидела в доме совсем одна, не с кем было поговорить.

Лайонел не повернул руль. Он разглядывал какую-то щербинку на рукоятке.

– Поговорила бы с Сандрой, – сказал он.

– Сандра занята, – сказала Бу-Бу. – И не хочу я разговаривать с Сандрой, хочу с тобой. Хочу сесть к тебе в лодку и разговаривать с тобой.

– Говори с мостков.

– Что?

– Говори с мост-ков!

– Не могу. Очень далеко. Мне надо подойти поближе.

Лайонел рванул румпель.

– На борт никому нельзя, – сказал он.

– Что?

– На борт никому нель-зя!

– Ладно, тогда, может, скажешь, почему ты сбежал из дому? – спросила Бу-Бу. – Ты ведь мне обещал больше не бегать.

На корме лежала маска аквалангиста. Вместо ответа Лайонел подцепил ее пальцами правой ноги и ловким, быстрым движением швырнул за борт. Маска тотчас ушла под воду.

– Мило, – сказала Бу-Бу. – Дельно. Это маска дяди Уэбба. Он будет в восторге. – Она затянулась сигаретой. – Раньше в ней нырял дядя Симор.

– Ну и пусть.

– Ясно. Я так и поняла, – сказала Бу-Бу.

Сигарета торчала у нее в пальцах как-то вкривь. Внезапно почувствовав ожог, Бу-Бу уронила ее в воду. Потом вытащила что-то из кармана. Это был белый пакетик величиной с колоду карт, перевязанный зеленой ленточкой.

– Цепочка для ключей, – сказала Бу-Бу, чувствуя на себе взгляд Лайонела. – Точь-в-точь такая же, как у папы. Только на ней куда больше ключей, чем у папы. Целых десять штук.

Лайонел подался вперед, выпустив руль. Подставил ладони чашкой.

– Кинь! – попросил он, – Пожалуйста!

– Одну минуту, милый. Мне надо немножко подумать. Следовало бы кинуть эту цепочку в воду.

Сын смотрел на нее, раскрыв рот. Потом закрыл рот.

– Это моя цепочка, – сказал он не слишком уверенно.

Бу-Бу, глядя на него, пожала плечами:

– Ну и пусть.

Не спуская глаз с матери, Лайонел медленно отодвинулся на прежнее место и стал нащупывать за спиной румпель. По глазам его видно было: он все понял. Мать так и знала, что он поймет.

– Держи! – Она бросила пакетик ему на колени. И не промахнулась.

Лайонел поглядел на пакетик, взял в руку, еще поглядел – и внезапно швырнул его в воду. И сейчас же поднял глаза на Бу-Бу – в глазах был не вызов, но слезы. Еще мгновение – и губы его искривились опрокинутой восьмеркой, и он отчаянно заревел.

Бу-Бу встала – осторожно, будто в театре отсидела ногу – и спустилась в лодку. Через минуту она уже сидела на корме, держа рулевого на коленях, и укачивала его, и целовала в затылок, и сообщала кое-какие полезные сведения:

– Моряки не плачут, дружок. Моряки никогда не плачут. Только если их корабль пошел ко дну. Или если они потерпели крушение, и их носит на плоту, и им нечего пить, и...

– Сандра... сказала миссис Снелл... что наш папа... большой... грязный... иуда...

Ее передернуло. Она спустила мальчика с колен, поставила перед собой и откинула волосы у него со лба.

– Сандра так и сказала, да?

Лайонел изо всех сил закивал головой. Он придвинулся ближе, все не переставая плакать, и встал у нее между колен.

– Ну, это еще не так страшно, – сказала Бу-Бу, стиснула сына коленями и крепко обняла. – Это еще не самая большая беда. – Она легонько куснула его ухо. – А ты знаешь, что такое иуда, малыш?

Лайонел ответил не сразу – то ли не мог говорить, то ли не хотел. Он молчал, вздрагивая и всхлипывая, пока слезы не утихли немного. И только тогда, уткнувшись в теплую шею Бу-Бу, выговорил глухо, но внятно:

– Чуда-юда... это в сказке... такая рыба-ки...

Бу-Бу легонько оттолкнула сына, чтобы поглядеть на него. И вдруг сунула руку сзади ему за пояс – он даже испугался, – но не шлепнула его, не ущипнула, а только старательно заправила ему рубашку.

– Вот что, – сказала она. – Сейчас мы поедем в город, и купим пикулей и хлеба, и перекусим прямо в машине, а потом поедем на станцию встречать папу, и привезем его домой, и пускай он покатает нас на лодке. И ты поможешь ему отнести паруса. Ладно?

– Ладно, – сказал Лайонел.

К дому они не шли, а бежали на перегонки. Лайонел прибежал первым.

Дорогой Эсме с любовью – и мерзопакостью

Перевод: Суламифь Оскаровна Митина

Совсем недавно я получил авиапочтой приглашение на свадьбу, которая состоится в Англии восемнадцатого апреля. Я бы дорого дал, чтобы попасть именно на эту свадьбу, и потому, когда пришло приглашение, в первый момент подумал, что, может быть, все-таки мне удастся полететь в Англию, а расходы – черт с ними. Но потом я очень тщательно обсудил это со своей женой, женщиной на диво рассудительной, и мы решили, что я не поеду: так, например, я совсем упустил из виду, что во второй половине апреля у нас собирается гостить теща. По правде сказать, я вижу матушку Гренчер не так уж часто, а она не становится моложе. Ей уже пятьдесят восемь. (Она и сама этого не скрывает.)

И все-таки, где я ни буду в тот день, мне кажется, я не из тех, кто хладнокровно допустит, чтобы чья-нибудь свадьба вышла донельзя пресной. И я стал действовать соответственно: набро-

сал заметки, где содержаться кое-какие подробности о невесте, какою она была почти шесть лет тому назад, когда я ее знал. Если заметки мои доставят жениху, которого я в глаза не видел, несколько неприятных минут, – что ж, тем лучше. Никто и не собирается делать приятное, отнюдь. Скорее проинформировать и наставить.

Я был одним из шестидесяти американских военнослужащих, которые в апреле 1944 года под руководством английской разведки проходили в Девоншире (Англия) весьма специальную подготовку в связи с предстоящей высадкой на континент. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что народ у нас тогда подобрался довольно своеобразный – из всех шестидесяти не нашлось ни одного общительного человека. Мы все больше писали письма, а если и обращались друг к другу по неслужебным делам, то обычно за тем, чтобы спросить, нет ли у кого чернил, которые сейчас ему нужны.

В те часы, когда мы не писали и не сидели на занятиях, каждый был предоставлен самому себе. Я, например, в ясные дни обычно бродил по живописным окрестностям, а в дождливые забирался куда-нибудь в сухое место и читал, зачастую как раз на таком расстоянии от стола для пинг-понга, откуда можно было бы хватить его топором.

Наши занятия, длившиеся три недели, закончились в субботу, очень дождливую. В семь часов вечера вся наша группа выезжала поездом в Лондон, где нас, по слухам, должны были распределить по пехотным и воздушно-десантным дивизиям, готовящимся к высадке на континент. В три часа дня я сложил в вещевой мешок все свои пожитки, включая брезентовую сумку от противогаза, набитую книгами, которые я привез из-за океана (противогаз я вышвырнул в иллюминатор на «Мавритании» еще с месяц тому назад, прекрасно понимая, что, если враг когда-нибудь в *самом деле* применит газы, я все равно не успею нацепить эту чертову маску вовремя). Я помню, что очень долго стоял у окна в конце казармы и смотрел на скучный косой дождь, не ощущая никакой воинственности, ни в малейшей степени. Позади слышалось, как множество авторучек чиркает вразнобой по многочисленным бланкам для микро-фотописем.

Внезапно, без всякой определенной цели, я отошел от окна, надел дождевик, кашемировый шарф, галоши, теплые перчатки и пилотку (я надевал ее не как положено, а по-своему, слегка надвигая на оба уха, – мне и сейчас еще об этом напоминают), затем, свернув свои часы с часами в уборной, я стал спускаться с холма по залитой дождем мощеной дороге, которая вела в город. На молнии, сверкавшие со всех сторон, я не обращал внимания. Либо уж на какой-нибудь из них стоит твой номер, либо нет.

В центре городка, где было, пожалуй, мокрее всего, я остановился перед церковью и стал читать написанные на доске объявления – главным образом потому, что четкие цифры, белыми по черному, привлекали мое внимание, а еще и потому, что после трех лет пребывания в армии я пристрастился к чтению объявлений. В три пятнадцать – говорилось в одном из них – состоится спевка детского хора. Я посмотрел на свои часы, потом снова на объявление. К нему был приклеен листок с фамилиями детей, которые должны явиться на спевку. Я стоял под дождем, пока не прочитал все фамилии, потом вошел в церковь.

На скамьях сидело человек десять взрослых, некоторые из них держали на коленях детские галошки, подошвами вверх. Я прошел вперед и сел в первом ряду. На возвышении, на деревянных откидных стульях, тесно сдвинутых в три ряда, сидело около двадцати детей, большей частью девочек, в возрасте от семи до тринадцати лет. Как раз в этот момент руководительница хора, могучего телосложения женщина в твидовом костюме, наставляла их, чтобы они пошире раскрывали рты, когда поют. Разве кто-нибудь когда-нибудь слышал, спрашивала она, чтобы птичка *отважилась* спеть свою прелестную песенку, не раскрыв своего клювика широко-широко-широко? Такого, по-видимому, никто никогда не слышал. Дети смотрели на нее непроницаемым взглядом. Потом она сказала, что хочет, чтобы каждый из ее деток понимал смысл слов, которые поет, а не просто *произносил* их, как попка-дурак.

Тут она дунула в камертон-дудку, и дети, словно малолетние штангисты, подняли сборники гимнов.

Они пели без всякого музыкального сопровождения, или, как правильнее было бы выразиться в данном случае, без всякой помехи. Голоса их звучали мелодично, без малейшей сенти-

ментальности, и человек, более склонный к религиозным чувствам, чем я, мог бы без особого напряжения испытать душевный подъем. Правда, двое самых маленьких все время чуть-чуть отставали, но получалось у них это так, что разве мамаша композитора могла бы придраться. Гимна этого я никогда раньше не слышал, однако меня не оставляла надежда, что в нем будет стихов двенадцать, а то и больше. Слушая пение, я всматривался во все детские лица, но одно из них – лицо моей ближайшей соседки, сидевшей на крайнем стуле в первом ряду, – особенно привлекло мое внимание. Это была девочка лет тринадцати с прямыми пепельными волосами, едва покрывавшими уши, прекрасным лбом и холодноватыми глазами – не исключено, что эти глаза оценивают публику, которая собралась сейчас в церкви. Голос ее явственно выделялся из всех остальных – и не только потому, что она сидела ко мне ближе, чем другие. Самый высокий и чистый, самый мелодичный, самый уверенный, он естественно вел за собой весь хор. Но юной леди, по-видимому, слегка прискучило ее дарование, а может быть, ей просто было скучно сейчас в церкви. Я видел, как в перерывах между стихами она дважды зевнула. Зевок был благовоспитанный, с закрытым ртом, но все-таки его можно было заметить: подрагивание ноздрей выдавало ее.

Как только гимн кончился, руководительница хора начала пространно высказываться о людях, которые во время проповеди не могут держать ноги вместе, а рот на замке. Из этого я заключил, что спевка закончена, и, не дожидаясь, пока голос регентши, прозвучавший неприятным диссонансом, полностью нарушит очарование детского пения, я поднялся и вышел из церкви.

Дождь лил пуще прежнего. Я пошел по улице и заглянул в окно солдатского клуба Красного Креста, но внутри, у стойки, где отпускали кофе, люди стояли в три ряда, и даже через стекло было слышно, как пощелкивают в задней комнате шарики пинг-понга. Перейдя улицу, я вошел в обычное кафе. Там не было ни души, кроме пожилой официантки, по виду которой сразу можно было сказать, что она предпочла бы клиента в сухом дождевике. Я подошел к вешалке и разделся, стараясь действовать как можно деликатнее, потом сел за столик и заказал себе чай и гренки с корицей. Это были первые слова, произнесенные мной за весь день. Затем я обшарил все карманы, заглянул даже в дождевик и нашел наконец два заваливавшихся письма, которые можно было перечитать: одно от жены – о том, как плохо стали обслуживать в кафетерии Шарфа на Восемьдесят восьмой улице, а другое от тещи – чтобы я был так добр и прислал ей немного тонкой козьей шерсти для вязанья, как только мне представится возможность отлучиться из «лагеря».

Я еще не допил первой чашки, когда в кафе вошла та самая юная леди, которую я только что разглядывал и слушал в церкви. Волосы у нее были совершенно мокрые, между прядями проглядывали кончики ушей. С ней был совсем маленький мальчуган, явно ее брат. Она сняла с него шапку, подняв ее двумя пальцами, словно объект для лабораторного исследования. Шестствие замыкала энергичного вида женщина в фетровой шляпе, по-видимому, гувернантка. Юная леди из хора, снимая на ходу пальто, выбрала столик, на мой взгляд, весьма удачно: всего в каких-нибудь восьми-десяти шагах от моего, прямо у меня перед глазами. Девочка и гувернантка сели, но малыш – ему было лет пять – садиться не собирался. Он выскользнул из матросской курточки и сбросил ее, после чего с невозмутимым видом прирожденного мучителя принялся методически изводить гувернантку: то выдвигал свой стул, то снова его задвигал и при этом не сводил с нее глаз. Гувернантка раза три сказала ему приглушенным голосом, чтобы он сел и вообще прекратил свои фокусы, но только когда к нему обратилась сестра, он обошел свой стул и развалился на сиденье. После чего схватил салфетку и положил себе на голову. Сестра сняла салфетку, расправила ее и разостлала у него на коленях.

К тому времени, когда им принесли чай, девочка из хора успела заметить, что я рассматриваю из компанию. Она тоже пристально посмотрела на меня своими оценивающими глазами, потом вдруг улыбнулась мне осторожной полуулыбкой, как ни странно, радужной и ясной, – это бывает иной раз с такими осторожными полуулыбками. Я улыбнулся в ответ, но далеко не так радужно и ясно, стараясь не поднимать верхней губы, чтобы не открылись угольно-черные солдатские пломбы в двух передних зубах. Не успел я опомниться, как юная леди уже стояла около моего столика, держась с завидной уверенностью. На ней было платье из яркой шерстяной шотландки (по-моему, это были цвета клана Кемпбеллов), и я нашел, что это чудесный наряд для девочки-подростка в такой дождливый-дождливый день.

– А я думала, американцы презируют чай, – сказала она.

В этих словах не было развязного самодовольства всезнайки; скорее в них чувствовалась любовь к точности, к статическим данным. Я ответил, что некоторые американцы ничего не пьют, *кроме* чая. Потом спросил, не присядет ли она за мой столик.

– Благодарю вас, – сказала она. – Пожалуй, но только на какую-то долю секунды.

Я встал и выдвинул для нее стул – тот, что стоял напротив моего; и она села на самый краешек, держась очень прямо, – это получалось у нее естественно и красиво. Я пошел, вернее бросился, к своему стулу, горя желанием поддержать разговор. Но, сев на место, никак не мог придумать, что мне сказать. Я снова улыбнулся, стараясь прикрывать угольно-черные пломбы. Наконец я сообщил, что погода сегодня просто ужасная.

– Да, вполне, – ответила моя гостья таким тоном, который явно показывал, что она терпеть не может пустых разговоров. Она положила пальцы на край стола, вытянув их, словно на спиритическом сеансе, но почти тотчас же спрятала их, сжав кулаки, – ногти у нее были обкусаны до самого мяса.

На руке у нее я увидел часы военного образца, напоминавшие штурманский хронограф. Циферблат их казался непомерно большим на ее тоненьком запястье.

– Вы были на спевке, – сказала она деловито, – я вас видела.

Я ответил, что действительно был и что голос ее выделялся из остальных. Я сказал, что, по моему, у нее очень красивый голос.

Она кивнула.

– Я знаю. Я собираюсь стать профессиональной певицей.

– Вот как? Оперной?

– Боже, нет, конечно. Я буду выступать с джазом по радио и зарабатывать кучу денег. Потом, когда мне исполнится тридцать, я все брошу и уеду в Огайо, буду жить на ранчо. – Она потрогала ладонью макушку: волосы у нее были совершенно мокрые. – Вы знаете Огайо? – спросила она.

Я ответил, что несколько раз проезжал там поездом, но, по сути дела, тех краев не знаю. Потом я предложил ей гренок с корицей.

– Нет, благодарю, – сказала она. – Я ем, как птичка, знаете ли.

Тогда я сам откусил кусочек гренка, после чего сказал ей, что Огайо – суровый край.

– Я знаю. Мне один американец говорил. Вы уже одиннадцатый американец, которого я встречаю.

Гувернантка усиленно подавала ей знаки, чтобы она вернулась к своему столику и перестала наконец надоедать человеку. Но моя гостья преспокойно подвинула стул на несколько дюймов, так что оказалась спиной к своему столику, устранив этим всякую возможность дальнейшей сигнализации оттуда.

– Вы ходите в эту секретную школу для разведчиков – там, на холме, да? – осведомилась она.

Памятуя о бдительности, я ответил, что приехал в Девоншир на поправку.

– *Вот как*, – сказала она, – я, знаете ли, не вчера родилась.

Я сказал, что ясное дело, не вчера – могу за это поручиться. Некоторое время я молча пил чай. Мне вдруг стало казаться, что сижу я как-то не так, и я выпрямился.

– А вы кажетесь довольно интеллигентным для американца, – задумчиво произнесла моя гостья.

Я ответил, что говорить подобные вещи, по сути дела, – порядочный снобизм и что, по моему, это ее недостойно.

Она вспыхнула, и тут мне сразу передалась ее прежняя светская непринужденность, которой мне самому так не хватало.

– Да, но большинство американцев, которых я видела, ведут себя, как животные, – сказала она. – Вечно толкают друг друга, всех оскорбляют и даже... знаете, что один из них проделал?

Я покачал головой.

– Швырнул пустую бутылку из-под виски моей тете в окно. К *счастью*, окно было откры-

то, но как вы считаете, это очень интеллигентный поступок?

Я считал, что не очень, но умолчал об этом. Я сказал, что сейчас солдаты из разных стран оторваны от родного дома и у большинства из них в жизни мало хорошего. Мне казалось, добавил я, что многие люди могли бы и сами это сообразить.

– Возможно, – ответила моя гостья без особого убеждения. Она снова потрогала рукой влажные волосы и, захватив несколько намокших светлых прядей, переложила их так, чтобы прикрыть уши, – Волосы у меня совсем мокрые, – сказала она. – Я сущее пугало. – Она посмотрела на меня. – Вообще-то волосы у меня довольно волнистые, когда они сухие.

– Я вижу, вижу, что волнистые.

– Не то чтобы кудрявые, но довольно волнистые, – сказала она. – А вы женаты?

Я ответил, что женат.

Она кивнула.

– У вас глубокая страсть к женщине? Или это вопрос чересчур личный?

Я ответил, что, когда будет чересчур, я сам скажу. Она снова положила руки на стол, и я помню, что мне захотелось что-нибудь сделать с огромными часами, которые красовались у нее на запястье, – посоветовать ей, чтобы она носила их вокруг талии, что ли.

– Вообще-то мне не так уж свойственно стадное чувство, – сказала она и бросила на меня взгляд, проверяя, знаю ли я смысл этого выражения. Однако я ничем не дал понять, так это или не так. – Я подошла к вам исключительно потому, что вы показались мне чрезвычайно одиноким. У вас лицо чрезвычайно тонко чувствующего человека.

Я сказал, что она права, я и в самом деле чувствовал себя одиноким и очень рад, что она подошла ко мне.

– Я вырабатываю в себе чуткость. Моя тетя говорит, что я страшно холодная натура, – сказала она и снова потрогала макушку. – Я живу с тетей. Она чрезвычайно мягкая натура. После смерти мамы она делает все, что в ее силах, чтобы мы с Чарлзом приспособились к новому окружению.

– Рад это слышать.

– Мама была чрезвычайно интеллигентный человек и весьма страстная натура во многих отношениях. – Она посмотрела на меня с обостренным вниманием. – А как вы находите, я страшно холодная натура?

Я сказал, что вовсе нет, – как раз наоборот. Потом назвал себя и спросил, как ее зовут.

Она помедлила с ответом.

– Меня зовут Эсм. Фамилию свою я лучше пока не назову. Дело в том, что я ношу титул, а может быть, на вас титулы производят впечатление. С американцами, знаете ли, случается.

Я ответил, что со мной такое вряд ли случится, но, пожалуй, это мысль – пока пусть своего титула не называет.

Тут я почувствовал сзади на шее чье-то теплое дыхание. Я повернулся, и мы чуть было не стукнулись носами с маленьким братом Эсме. Не устаивая меня вниманием, он обратился к сестре, проговорив тонким, пронзительным голосом.

– Мисс Мегли сказала – иди допей чай! – Выполнив свою миссию, он уселся между сестренкой и мной, по правую руку от меня. Я принялся разглядывать его с большим интересом. Он был просто великолепен – в коротких штанишках из коричневой шотландской шерсти, темно-синем джемпере и белой рубашке с полосатым галстучком. Он тоже смотрел на меня всюю своими зелеными глазищами.

– Почему в кино люди целуются боком? – спросил он напористо.

– Боком? – повторил я. Эта проблема в детстве мучила и меня. Я сказал, что, наверно, у актеров очень большие носы, вот они и не могут целоваться прямо.

– Его зовут Чарлз, – сказала Эсме. – Чрезвычайно выдающийся интеллект для своего возраста.

– А вот глаза у него безусловно зеленые. Верно, Чарлз?

Чарлз бросил на меня тусклый взгляд, какого заслуживает мой вопрос, и стал, извиваясь, сползать со стула, пока не очутился под столом. Наверху осталась только его голова: запрокинув

ее, словно делал «мостик», он лег затылком на сиденье стула.

– Они оранжевые, – процедил он, обращаясь к потолку. Потом поднял угол скатерти и закрыл им свою красивую непроницаемую рожицу.

– Иногда он очень выдающийся интеллект, а иногда не очень, – сказала Эсме. – Чарлз, а ну-ка сядь!

Чарлз не шевельнулся. Казалось, он даже затаил дыхание.

– Он очень скучает по нашему отцу. Отец пал в бою в Северной Африке.

Я сказал, что мне очень жаль это слышать.

Эсме кивнула.

– Отец его обожал. – Она задумчиво стала покусывать заусеницу. – Он очень похож на маму, я хочу сказать – Чарлз. А я – вылитый отец. – Она снова стала покусывать заусеницу. – Мама была весьма страстная натура. Она была экстраверт. А отец интроверт. Впрочем, подбор был удачный – если судить поверхностно. Но, говоря вполне откровенно, отцу, конечно, нужна была еще более интеллектуально выдающаяся спутница, чем мама. Он был чрезвычайно одаренный гений.

Весь обратившись в слух, я ждал дальнейшей информации, но ее не последовало. Я взглянул вниз, на Чарлза, – теперь он положил щеку на сиденье стула. Заметив, что я смотрю на него, он закрыл глаза с самым сонным ангельским видом, потом высунул язык – поразительно длинный – и издал громкий неприличный звук, который у меня на родине послужил бы славной наградой ротоzeug судье на бейсбольном матче. В кафе просто стены затряслись.

– Прекрати, – сказала Эсме, на которую это явно не произвело впечатления. – При нем один американец проделал такое в очереди за жареной рыбой с картошкой, и теперь он тоже это устраивает, как только ему станет скучно. Прекрати сейчас же, а то отправишься прямо к мисс Мегли.

Чарлз открыл глазищи в знак того, что угроза сестры дошла до него, но в остальном не проявил беспокойства. Он снова закрыл глаза, продолжая прижиматься щекой к сиденью стула.

Я заметил, что ему, пожалуй, следует приберечь этот трюк – я имел в виду способ выражения чувств, принятый в Бронксе, – до той поры, когда он станет носить титул. Если, конечно, у него тоже есть титул.

Эсме посмотрела на меня долгим изучающим взглядом, словно на объект исследования.

– Как называется такой юмор, как у вас? Когда острят с непроницаемым видом? – спросила она задумчиво. – Отец говорил, что у меня нет чувства юмора. Он считал, что раз у меня нет чувства юмора, я не приспособлена к жизни.

Я закурил сигарету и сказал, что, когда попадаешь в настоящую переделку, от чувства юмора, на мой взгляд, нет никакого прока.

– А отец говорил, что есть.

Это было не возражение, а символ веры, и я поспешил перестроиться. Кивнув в знак согласия, я сказал, что отец ее, по-видимому, говорил это в широком смысле слова, а я в узком (как это следовало понимать – неизвестно).

– Чарлз скучает по нему невероятно, – сказала Эсме после короткой паузы. – Он был невероятно симпатичный человек. И чрезвычайно красивый. Не то чтоб внешность имела большое значение, но все-таки он был чрезвычайно красивый. У него был ужасно пронзительный взгляд для человека с такой им-мо-мент-но присущей добротой.

Я кивнул. Должно быть, сказал я, у отца ее был весьма необычный язык.

– Да, весьма, – сказала Эсме. – Он был архивист – любитель, конечно.

Тут я почувствовал настойчивый шлепок, вернее даже удар по плечу, с той стороны, где находился Чарлз. Я повернулся к нему. Теперь он сидел на стуле почти в нормальной позе, только ногу поджал.

– А что говорит одна стенка другой стенке? – нетерпеливо спросил он. – Это такая загадка.

Я задумчиво поднял глаза к потолку и повторил вопрос вслух. Потом с растерянным видом взглянул на Чарлза и сказал, что сдаюсь.

– Встретимся на углу! – выпалил он торжествующе.

Больше всех ответ развеселил самого Чарлза. Он чуть не задохнулся от смеха. Эсме даже пришлось подойти к нему и похлопать его по спине, как во время приступа кашля.

– Ну-ка, прекрати, – сказала она. Потом вернулась на свое место. – Он всем задает одну и ту же загадку и каждый раз вот так закатывается. А когда хохочет, у него течет слюна. Ну, довольно! Прекрати, пожалуйста.

– А кстати, это одна из лучших загадок, какие я слышал, – сказал я, поглядывая на Чарлза, который очень медленно приходил в нормальное состояние.

В ответ на мой комплимент он опять сполз со стула и до самых глаз закрыл лицо углом скатерти. Потом взглянул на меня поверх скатерти – в глазах его светились медленно угасавшее веселье и гордость человека, знающего парочку стоящих загадок.

– Могу я осведомиться, где вы служили до того, как пошли в армию? – спросила Эсме.

Я ответил, что не служил нигде, что только за год перед тем окончил колледж, но мне хотелось бы считать себя профессиональным писателем-новеллистом.

Она вежливо кивнула.

– Печатались? – спросила она.

Вопрос был обычный, но, как всегда, щекотливый, и так вот, сразу, на него не ответишь. Я стал было объяснять, что большинство редакторов в Америке – просто свора...

– А мой отец писал превосходно, – перебила меня Эсме. – Я сохраняю многие его письма для потомства.

Я сказал, что это прекрасная мысль. Тут мне снова бросились в глаза ее огромные часы, напоминавшие хронограф. Я спросил, не принадлежали ли они ее отцу. Эсме серьезно и сосредоточенно посмотрела на свое запястье.

– Да, – ответила она. – Он дал их мне как раз перед тем, как нас с Чарлзом эвакуировали. – Застеснявшись, она убрала руки со стола. – Разумеется, просто в качестве су-ве-ре-на, – сказала она и тут же переменяла тему. – Я буду чрезвычайно польщена, если вы когда-нибудь напишете рассказ специально для меня. Я весьма страстная любительница чтения.

Я ответил, что напишу непременно, если только сумею. Но что вообще-то я не бог весть как плодовит.

– А вовсе не обязательно быть бог весть каким плодовитым. Лишь бы рассказ не получился детским и глупеньким. – Она задумалась. – Я предпочитаю рассказы про мерзость.

– Про что? – спросил я, подаваясь вперед.

– Про мерзость. Меня чрезвычайно интересует всякая мерзость.

Я собирался расспросить ее поподробнее, но тут Чарлз ущипнул меня за руку, и очень сильно. Я повернулся к нему, слегка поморщившись. Он стоял совсем рядом.

– А что говорит одна стенка другой стенке? – снова задал он вопрос, не очень для меня новый.

– Ты его уже спрашивал, – сказала Эсме. – Ну-ка, прекрати!

Не обращая на сестру никакого внимания, Чарлз вскарабкался мне на ногу и повторил свой коронный вопрос. Я заметил, что узел его галстучка сбился на сторону. Я водворил его на место, потом взглянул Чарлзу прямо в глаза и сказал:

– Встретимся на углу?

Не успел я произнести эти слова, как тут же пожалел о них. Рот у Чарлза широко раскрылся. У меня было такое чувство, будто это я раскрыл его сильным ударом. Он слез с моей ноги и с разъяренно-неприступным видом зашагал к своему столику, даже не оглянувшись.

– Он в ярости, – сказала Эсме. – Невероятно вспыльчивый темперамент. У мамы была сугубая тенденция его баловать. Отец был единственный, кто его не портил.

Я продолжал наблюдать за Чарлзом. Он уселся за свой столик и стал пить чай, держа чашку обеими руками. Я ждал, что он обернется, но напрасно.

Эсме поднялась.

– Il faut que je parte aussi³, – сказала она, вздыхая. – Вы знаете французский?

³ Надо и мне идти (франц.).

Я тоже встал – со смешанным чувством печали и смущения. Мы с Эсме пожали друг другу руки. Как я и ожидал, рука у нее была нервная, влажная. Я сказал ей – по-английски, – что обществу ее доставило мне большое удовольствие.

Она кивнула.

– Полагаю, что так оно и было, – сказала она. – Я довольно коммуникабельна для своего возраста. – Тут она снова коснулась рукой головы, проверяя, высохли ли волосы. – Ужасно жаль, что у меня такое с волосами. Мой вид, должно быть, внушает отвращение.

– Вовсе нет! Если на то пошло, волосы уже опять волнистые.

Быстрым движением она снова коснулась головы.

– Как вы полагаете, окажитесь вы здесь снова в ближайшем будущем? – спросила она. – Мы бываем здесь каждую субботу после спевки.

Я ответил, что это было бы самым большим моим желанием, но, к сожалению, я твердо знаю, что больше мне прийти не удастся.

– Иными словами, вы не вправе сообщать о переброске войск, – сказала Эсме, но не сделала никакого движения, которое говорило бы о ее намерении отойти от столика.

Она стояла, переплетя ноги, и глядела на пол, стараясь выровнять носки туфель. Это получалось у нее красиво – она была в белых гольфах, и на ее стройные щиколотки и икры приятно было смотреть. Внезапно Эсме взглянула на меня.

– Вы хотели бы, чтобы я вам писала? – спросила она, слегка покраснев. – Я пишу чрезвычайно вразумительные письма для человека моего...

– Я был бы очень рад. – Я вынул карандаш и бумагу и написал свою фамилию, звание, личный номер и номер моей полевой почты.

– Я напишу вам первая, – сказала она, взяв листок. – Чтобы вы ни с какой стороны не чувствовали себя ском-про-мети-ро-ванным. – Она положила бумажку с адресом в карман платья. – До свидания, – сказала она и направилась к своему столику.

Я заказал еще чаю и сидел, продолжая наблюдать за ними до тех пор, пока оба они и вконец замученная мисс Мегли не поднялись, чтобы уйти. Чарлз возглавлял шествие – он хромал с трагическим видом, как будто у него одна нога на несколько дюймов короче другой. В мою сторону он даже не посмотрел. За ним шла мисс Мегли, а последней Эсме – она махнула мне рукой. Я помахал ей в ответ, приподнявшись со стула. Почему-то волнение охватило меня.

Не прошло и минуты, как Эсме появилась снова, таща Чарлза за рукав курточки.

– Чарлз хочет поцеловать вас на прощание, – объявила она.

Я сразу же поставил чашку и сказал, что это очень мило, но *вполне* ли она уверена?

– Вполне, – ответила Эсме несколько мрачно. Она выпустила рукав Чарлза и весьма энергично толкнула его в мою сторону. Он подошел, бледный как мел, и вlepил мне звучный мокрый поцелуй чуть пониже правого уха. Пройдя через это тяжелое испытание, он направился было прямоком к двери и к иной жизни, где обходятся без таких сантиментов, но я поймал его за хлястик и, крепко за него ухватившись, спросил:

– А что говорит одна стенка другой стенке?

Лицо его засветилось.

– Встретимся на углу! – выкрикнул он и опрометью бросился за дверь – видимо в диком возбуждении.

Эсме стояла в прежней позе, переплетя ноги.

– А вы вполне уверены, что не забудете написать для меня рассказ? – спросила она. – Не обязательно, чтобы он был *специально* для меня. Пусть даже...

Я сказал, что не забуду ни в коем случае – это совершенно исключено. Что я никогда еще не писал рассказа специально *для кого-нибудь*, но что сейчас, пожалуй, самое время этим заняться.

Она кивнула.

– Пусть он будет чрезвычайно трогательный и мерзостный, – попросила она. – Вы вообще-то имеете достаточное представление о мерзости?

Я сказал, что не так чтобы очень, но, в общем, мне приходится все время с ней сталкиваться – в той или иной форме, – и я приложу все усилия, чтобы рассказ соответствовал ее инструкциям. Мы пожали друг другу руки.

– Жаль, что нам не довелось встретиться при обстоятельствах не столь удручающих, правда?

Я сказал, что, конечно, жаль, еще как.

– До свидания, – сказала Эсме. – Надеюсь, вы вернетесь с войны, сохранив способность функционировать нормально.

Я поблагодарил ее и сказал еще несколько слов, а потом стал смотреть, как она выходит из кафе. Она шла медленно, задумчиво, проверяя на ходу, высохли ли кончики волос.

А вот мерзопакостная – она же трогательная – часть моего рассказа. Место действия меняется. Меняются и действующие лица. Я по-прежнему остаюсь в их числе, но по причинам, которые открыть не волен, я замаскировался, притом так хитроумно, что даже самому догадливому читателю меня не распознать.

Это было в Гауфурте, в Баварии, примерно в половине одиннадцатого вечера, через несколько недель после Дня победы над Германией. Штаб-сержант Икс сидел в своей комнате, на втором этаже частного дома, куда он вместе с девятью другими американскими военнослужащими был назначен на постой еще до прекращения боевых действий. Примостившись на складном деревянном стуле у захламленного письменного столика, он держал перед собой раскрытый роман в бумажной обложке и пытался читать, но дело не ладилось. Впрочем, неладно было с ним самим, а не с романом. Правда, книги, ежемесячно приходявшие из Отдела специального обслуживания, прежде всего попадали в руки солдатам с нижнего этажа, но на долю Икса обычно доставались книжки, которые он, видимо, выбрал бы и сам. Однако этот молодой человек был один из тех, кто, пройдя через войну, не сохранил способности «функционировать нормально», и потому он больше часа перечитывал по три раза каждый абзац, а теперь стал проделывать то же самое с каждой фразой. Внезапно он захлопнул книгу, даже не заложив страницу. На мгновение заслонил глаза рукой от резкого, слепящего, холодного света голой электрической лампы, висевшей над столом.

Затем вынул сигарету из лежащей на столе пачки и с трудом закурил ее – пальцы его тряслись, то и дело легонько стучаясь друг о друга. Сев чуть поглубже, он затянулся, совершенно не чувствуя вкуса дыма. Уже много недель он дымил непрерывно, закуривая одну сигарету от другой. Десны его кровоточили, стоило прикоснуться к ним кончиком языка, и он без конца повторял этот опыт: это уже превратилось в своего рода игру, и он иногда занимался ею часами. Так сидел он минуту-другую – курил и проделывал тот же опыт. Потом внезапно и, как всегда, неожиданно его охватило привычное чувство – будто в голове у него спуталось, она потеряла устойчивость и мотается из стороны в сторону, как незакрепленный чемодан на багажной полке. Он сразу прибег к тому средству, которое уже много недель помогало ему водворить мир на место, – стиснул виски ладонями и с силой сжимал их несколько секунд. Он оброс, волосы у него были грязные. Он мыл их раза три-четыре в госпитале, во Франкфурте-на-Майне, где пролежал две недели, но на обратном пути в Гауфурт за время длинной поездки в пропыленном джипе они загрязнились снова. Капрал Зет, забравший его из госпиталя, по-прежнему гонял на своем джипе на фронтовой лад – опустив ветровое стекло на капот, а идут военные действия или нет – дело десятое. В Германию были переброшены тысячи новобранцев, и, разъезжая на своем джипе по фронтовому, с опущенным ветровым стеклом, капрал Зет желал показать, что он-то не из таковых, он не какой-нибудь там дерьмовый новичок на европейском театре военных действий.

Перестав наконец сжимать виски, Икс долго смотрел на письменный стол, где горкой лежало десятка два нераспечатанных писем и штук шесть нераскрытых посылок – все на его имя. Протянув руку над этой свалкой, он достал прислоненный к стене томик. То была книга Геббельса. Принадлежала она тридцативосьмилетней незамужней дочери хозяев дома, живших здесь всего несколько недель тому назад. Эта женщина занимала какую-то маленькую должность в нацистской партии, достаточно, впрочем, высокую, чтобы оказаться в числе тех, кто по

приказу американского командования автоматически подлежал аресту. Икс сам ее арестовал. И вот сегодня, вернувшись из госпиталя, он уже третий раз открывал эту книгу и перечитывал краткую надпись на форзаце. Мелким, безнадежно искренним почерком, чернилами было написано по-немецки пять слов: «Боже милостивый, жизнь – это ад». Больше там ничего не было – никаких пояснений. На пустой странице, в болезненной тишине комнаты слова эти обретали весомость неоспоримого обвинения, некой классической его формулы. Икс вглядывался в них несколько минут, стараясь не поддаваться, а это было очень трудно. Затем взял огрызок карандаша и с жаром, какого за все эти месяцы не вкладывал нив одно дело, приписал внизу по-английски: "Отцы и учителя, мыслю: «Что есть ад?» Рассуждаю так: «Страдание о том, что нельзя уже более любить». Он начал выводить под этими словами имя автора – Достоевского, – но вдруг увидел – и страх волной пробежал по всему его телу, – что разобрать то, что он написал, почти невозможно. Тогда он захлопнул книгу.

Потом схватил со стола первое, что попало под руку, – это было письмо от его старшего брата из Олбани. Оно лежало на столе еще до того, как он попал в госпиталь. Икс вскрыл конверт и вяло приготовился прочесть все письмо целиком, но прочитал лишь верхний кусок первой страницы. Он остановился после слов: «... раз проклятушая война уже кончилась и теперь у тебя, наверно, времени вагон – так как насчет того, чтобы прислать ребятишкам парочку штыков или свастик...» Икс разорвал письмо и взглянул в корзину на его обрывки. Только тут он обнаружил, что в письмо был вложен любительский снимок, которого он не заметил раньше. Еще и сейчас можно было разглядеть чьи-то ноги, стоящие на какой-то лужайке.

Он положил руки на стол и опустил на них голову. Болело все, с головы до ног, и казалось, все зоны боли связаны между собой. Он был словно рождественская елка, обвитая гирляндами лампочек: стоит испортиться одной, и они гаснут все разом.

Дверь с шумом распахнулась, хотя никто не постучал. Икс поднял голову, повернул ее и увидел капрала Зет, стоящего в дверях. Капрал ездил с ним в одном джипе и был постоянным его напарником во всех пяти военных операциях, с первого дня высадки на континент. Он жил внизу, а наверх, к Иксу, обычно поднимался затем, чтобы выложить дошедшие до него слухи или повозмущаться. Это был здоровенный, фотогеничного вида детина лет двадцати четырех. Во время войны его сфотографировали в Хюртгенвальде для одного из американских журналов; он позировал с величайшей охотой и в каждой руке держал по индейке, присланной ко Дню благодарения.

– Что, письмишко пишешь? – обратился он к Иксу. – Ну и темнотища тут, черт подери! – Входя в помещение, Зет обычно предпочитал, чтобы был включен верхний свет.

Икс повернулся к нему и предложил войти – только осторожнее, чтобы не наступить на собаку.

– На что?

– На Элвина. Он у тебя прямо под ногами, Клей. Зажег бы ты свет, к чертям, что ли!

Клей нащупал выключатель, щелкнул им, потом прошел через маленькую комнатку – размером с каморку для прислуги – и сел на край постели, лицом к Иксу. С его тщательно причесанных кирпично-рыжих волос еще стекали капли – он не пожалел воды, чтобы хорошенько прилизать свою шевелюру. Из правого нагрудного кармана серовато-зеленой гимнастерки привычно торчал гребешок с зажимом, как у авторучки. Над левым карманом красовался боевой значок пехотинца (хотя фактически носить его было ему не положено), орденская лента за участие в операциях на европейском фронте с пятью бронзовыми звездочками на ней (вместо одной серебряной, заменявшей пять бронзовых) и лента за службу в армии до Пирл-Харбора.

– Так тебя и разэтак, – проговорил он с тяжелым вздохом. Это не означало ровно ничего – известное дело, армия! Потом он вынул из кармана гимнастерки пачку сигарет, вытянул одну, снова водворил пачку на место и застегнул клапан кармана. Пуская дым, он обводил комнату пустым взглядом. Наконец глаза его остановились на приемнике. – Эй, – сказал он, – через минуту по радио колоссальное обозрение. Боб Хоуп и еще всякие.

Открыв новую пачку сигарет, Икс ответил, что только что выключил радио.

Ничуть не обескураженный, Клей стал с интересом наблюдать за тем, как Икс пытается закурить.

– Ух, черт, – сказал он с азартом болельщика, – посмотрел бы ты на свои дурацкие лапы. Ну и трясучка у тебя, черт подери. Да ты сам-то знаешь?

Иксу удалось наконец закурить сигарету; он кивнул и сказал, что Клей, конечно, здорово все подмечает.

– Эй, кроме шуток. Я чуть не сомлел, к чертям, когда увидел тебя в госпитале. Лежит – мертвец мертвецом, черт тебя подери. Сколько ты весу спустил, а? Сколько фунтов? Ты сам-то знаешь?

– Не знаю. Как ты тут без меня – много писем получил? От Лоретты есть что-нибудь?

Лоретта была девушка Клея. Они собирались пожениться при первой возможности. Она довольно часто писала ему из безмятежного своего мирка тройных восклицательных знаков и скороспелых суждений. И всю войну Клей читал Иксу вслух письма Лоретты, даже самые интимные, – в сущности, чем они были интимнее, тем он охотнее их читал. А прочитав, всякий раз просил Икса то сочинить ответ, то сделать его поподробней, то вставить для пущей важности несколько французских или немецких слов.

– Ага, вчера получил от нее письмо. Оно внизу, у меня в комнате. Потом покажу, – ответил Клей равнодушно. Сидя на краю постели, он вдруг выпрямился, задержал дыхание и звучно, со вкусом, рыгнул. Потом, видимо, не слишком довольный своим достижением, снова опустил плечи. – Этот сукин сын, ее братец, смывается с флота – бедро у него повреждено. Подвезло ему с этим бедром, гаду. – Он опять сел прямо и приготовился рыгнуть, но на сей раз получилось совсем неважно. Вдруг он встрепенулся. – Эй, пока я не забыл. Завтра встаем в пять и гоним в Гамбург или еще там куда-то. Получать эйзенхауэровские куртки на все подразделение.

Окинув его враждебным взглядом, Икс объявил, что ему лично эйзенхауэровская куртка ни к чему.

Клей посмотрел на него удивленно, даже слегка обиженно.

– Хорошие куртки. Красивые. Чего это ты?

– Не вижу смысла. Зачем нам вставать в пять утра? Война-то кончилась, черт дер!

– Да я не знаю. Сказано – до обеда вернуться. Пришли какие-то новые бланки, надо их до обеда заполнить... Я спрашивал Буллинга, чего ж он сегодня их не дает заполнять, – они же у него на столе, эти чертовы бланки. Так нет, не желает конверты распечатывать, сукин он сын.

Они помолчали секунду, остро ненавидя Буллинга.

Вдруг Клей взглянул на Икса с новым – повышенным – интересом.

– Эй, – сказал он, – а ты знаешь, что у тебя половина морды ходуном ходит?

Икс ответил, что знает, и прикрыл рукой одну сторону лица.

Клей разглядывал его еще некоторое время, потом объявил весело и оживленно, словно сообщая самую радостную новость:

– А я написал Лоретте, что у тебя нервное расстройство.

– Да?

– Ага. Ее здорово интересуют всякие такие штуки. Она специализируется по психологии. – Клей растянулся на кровати прямо в ботинках. – Знаешь, она что говорит? Так, говорит, не бывает, чтобы нервное расстройство началось вот так, вдруг – просто от войны, и вообще. Говорит, ты, наверно, всю свою дурацкую жизнь был слабонервный.

Икс приставил ладонь козырьком ко лбу – лампа над кроватью ослепляла его – и заметил, что свойственная Лоретте пронизательность неизменно приводит его в восторг.

Клей бросил на него быстрый взгляд.

– Слушай, ты, гад, – сказал он, – уж как-нибудь она понимает в этой самой психологии побольше твоего, черт подери.

– Может, ты все-таки соизволишь сбросить свои вонючие ножищи с моей постели? – спросил Икс.

Несколько секунд Клей оставался в прежней позе, как бы говоря: «Будешь ты мне еще указывать, куда ноги класть». Потом спустил ноги на пол и сел.

– Мне все равно надо вниз. В комнате Уокера есть приемник, – сказал он. Но с постели почему-то не встал. – Эй, я сейчас рассказывал внизу этому дерьмовому новичку, Бернстайну. Помнишь, в тот раз приехали мы с тобой в Валонь, и два часа нас обстреливали как проклятых, и тогда эта проклятушая кошка как вскочит на капот джипа – мы еще лежали в той яме, – я ее и подстрелил, помнишь?

– Помню, только вот что, Клей, не заводи ты опять про эту кошку, ну ее к чертям. Не хочу больше об этом слышать.

– Да нет, я только хочу сказать, я написал про эту историю Лоретте. Они ее обсуждали всей группой, все эти психологи. На занятиях, и все такое. И ихний дурацкий профессор, и все.

– Вот и прекрасно. Но я не желаю об этом слышать, Клей.

– Да нет, знаешь, что говорит Лоретта: почему я пальнул в эту кошку прямо в упор? Говорит, у меня было временное помешательство. Кроме шуток. От обстрела, и вообще.

Икс с силой провел растопыренными пальцами по грязным волосам, потом снова заслонил глаза от света.

– Никакое это не помешательство. Просто ты выполнял свой долг. И киску эту ты убил как мужчина. При тех обстоятельствах так каждый бы сделал.

Клей подозрительно взглянул на него.

– Что ты мелешь?

– Эта кошка была немецкая шпионка. И ты *должен* был снять ее выстрелом в упор. Это была лилипутка, очень коварная, а для маскировки нацепила мантию из кошачьего меха. Так что вовсе тут не было никакого зверства, или жестокости, или там пакости, или даже...

– Черт подери! – сказал Клей, поджимая губы. – Ты хоть когда-нибудь что-нибудь говоришь на полном серьезе?

Икс вдруг почувствовал, что его сейчас стошнит; он быстро повернулся на стуле и схватил мусорную корзинку – как раз вовремя.

Когда он выпрямился и снова взглянул на своего гостя, тот стоял со смущенным видом на полпути между кроватью и дверью. Икс хотел было извиниться, но передумал и потянулся за своими сигаретами.

– Эй, пошли вниз, послушаем Хоупа по радио, – сказал Клей, держась на прежней дистанции, но стараясь проявлять отсюда максимум дружелюбия. – Тебе это будет полезно. Правда.

– Ты иди, Клей... а я посмотрю свою коллекцию марок.

– Вон что! У тебя, значит, коллекция есть? А я и не знал, что ты...

– Да я шучу.

Клей медленно сделал несколько шагов к двери.

– А потом, может, в Эштадт махну, – сказал он. – Там у них танцы. Часов до двух, наверно. Поехали, а?

– Нет, спасибо... Я, может, немножко попрактикуюсь тут, в комнате.

Ну ладно. Пока! Ты того, не расстраивайся, пес с ним. – Эй, письмо к Лоретте я положу тебе под дверь, ладно? Я там втиснул кое-чего по-немецки. Так ты уж подправь, а?

– Ладно, а сейчас оставь меня в покое, черт подери!

– Идет, – сказал Клей. – Знаешь, что мне мать пишет? Рада, говорит, что мы с тобой вместе всю войну, и вообще. В одном джипе, и все такое. Говорит, письма у меня стали куда интеллигентнее с тех пор, как мы с тобой вместе.

Икс поднял голову, поглядел на него и сказал, с трудом выговаривая слова:

– Спасибо. Поблагодари ее от меня.

– Идет. Ну, будь.

Дверь с треском захлопнулась, теперь уже насовсем.

Икс долго сидел, глядя на дверь, потом повернулся вместе со стулом к письменному столу и поднял с пола портативную пишущую машинку. Расчищая для нее место на заваленном всяким хламом столе, он толкнул сразу же развалившуюся стопку нераспечатанных посылок и писем. Ему казалось, что если он напишет одному своему старому нью-йоркскому приятелю, то, может

быть, ему тут же полегчает, хотя бы немного. Но он никак не мог правильно вставить бумагу за валик – с такой силой тряслись у него пальцы. Он отдохнул немного, потом сделал еще одну попытку, но в конце концов скомкал бумагу в руке.

Икс понимал, что надо вынести мусорную корзинку из комнаты, но вместо этого опустил руки на пишущую машинку и, уронив на них голову, снова закрыл глаза.

Прошло несколько минут, наполненных пульсирующей болью, и когда он приподнял веки, перед его сощуренными глазами оказалась нераспечатанная посылочка в зеленой бумаге. Должно быть, она соскользнула с груды пакетов, когда он расчищал на столе пространство для пишущей машинки. Он увидел, что посылку много раз пересылали с места на место. Только на одном ее боку он разобрал, по крайней мере, три старых номера своей полевой почты.

Он вскрыл посылку без всякого интереса, даже не взглянув на обратный адрес. Просто пережег веревку спичкой. Ему куда интереснее было следить за тем, как бежал по веревке огонек, чем открывать посылку; но в конце концов он все-таки вскрыл ее.

В ящичке, под исписанными чернилами листком, лежал небольшой предмет, завернутый в папирусную бумагу. Он взял листок и прочел:

"7 июня 1944 г.

Девон,... улица, 17.

Дорогой сержант Икс!

Надеюсь Вы мне простите что, к переписке с Вами я приступаю лишь тридцать восемь дней спустя но, дело в том, что я была чрезвычайно загружена, так как моя тетя подверглась стрептококковой ангине и едва не погибла, и я соответственно была обременена множеством обязанностей, которые сваливались на меня одна за другой. И все же я часто вспоминала Вас и то чрезвычайно приятное время, которое мы провели в обществе друг друга 30 апреля 1944 года между 3. 45 и 4. 15 пополудни, – напоминая на тот случай, если событие это ускользнуло из Вашей памяти.

Узнав о высадке союзников мы все были невероятно потрясены, разволновались ужасно и только надеемся, что она поможет скорее покончить с войной и тем способом существования, который мягко выражаясь, можно назвать нелепым. Мы с Чарлзом оба основательно за Вас беспокоимся. Хотелось бы надеяться что, Вы не были в числе тех кто, совершил исходную первоначальную высадку на полуостров Котантен. А может были? Пожалуйста ответьте как можно скорее. Шлю сердечный привет Вашей жене.

Искренне Ваша Эсме.

P. S. Я беру на себя смелость послать Вам вместе с этим письмом свои часы и пусть они остаются в Вашем владении пока длится военный конфликт. Во время нашего непродолжительного общения с Вами я не заметила были ли у Вас на руке часы но, эти чрезвычайно удобны они абсолютно водонепроницаемы и абсолютно противоударны а, также обладают рядом других достоинств в том числе по ним можно при желании определить быстроту передвижения при ходьбе. Я вполне уверена что, в эти трудные дни они принесут Вам больше пользы чем мне и что, Вы согласитесь взять их на счастье как талисман.

Чарлз, которого я учу читать и писать и который показал себя чрезвычайно незаурядным для начинающего, хочет прибавить от себя несколько слов.

Пожалуйста напишите как только у Вас будет время и склонность".

ЗДРАСТУЙ ЗДРАСТУЙ ЗДРАСТУЙ ЗДРАСТУЙ ЗДРАСТУЙ
ЗДРАСТУЙ ЗДРАСТУЙ ЗДРАСТУЙ ЗДРАСТУЙ ЗДРАСТУЙ
ПРИВЕТ ЦЕЛЮЮ ЧАРЛЗ

Прошло немало времени, прежде чем Икс отложил письмо, и он еще долго не вынимал из коробки часы, принадлежавшие отцу Эсме. Когда же он наконец их вынул, то обнаружил, что стекло при пересылке треснуло. Он с тревогой подумал о том, нет ли там еще каких-нибудь повреждений, но завести их и проверить у него не хватило духу. И опять он долго сидел, не двига-

ясь и держа часы в руке. Потом внезапно, как ощущение счастья, пришла блаженная сонливость.

А раз человеку так захотелось спать, Эсме, у него, безусловно, есть надежда вновь обрести свой интел – и-н-т-е-л-л-е-к-т полностью.

И эти губы, и глаза зеленые...

Перевод: Нора Галь

Когда зазвонил телефон, седовласый мужчина не без уважительности спросил молодую женщину, снять ли трубку – может быть, ей это будет неприятно? Она повернулась к нему и слушала словно издалека, крепко зажмутив один глаз от света; другой глаз оставался в тени – широко раскрытый, но отнюдь не наивный и уж до того темно-голубой, что казался фиолетовым. Седовласый просил поторопиться с ответом, и женщина приподнялась – неспешно, только-только что не равнодушно – и оперлась на правый локоть.левой рукой отвела волосы со лба.

– О господи, – сказала она. – Не знаю. А по-твоему как быть?

Седовласый ответил, что, по его мнению, снять ли трубку, нет ли, один черт, пальцы левой руки протиснулись над локтем, на который опиралась женщина, между ее теплой рукой и боком, поползли выше. Правой рукой он потянулся к телефону. Чтобы снять трубку наверняка, а не искать на ощупь, надо было приподняться, и затылком он задел край абажура. В эту минуту его седые, почти совсем белые волосы были освещены особенно выгодно, хотя, может быть, и чересчур ярко. Они слегка растрепались, но видно было, что их недавно подстригли – вернее, подравнивали. На висках и на шее они, как полагается, были короткие, вообще же гораздо длиннее, чем принято, пожалуй даже, на «аристократический» манер.

– Да? – звучным голосом сказал он в трубку.

Молодая женщина, по-прежнему опершись на локоть, следила за ним. В ее широко раскрытых глазах не отражалось ни тревоги, ни раздумья, только и видно было, какие они большие и темно-голубые.

В трубке раздался мужской голос – безжизненный и в то же время странно напористый, почти до неприличия взбудораженный:

– Ли? Я тебя разбудил?

Седовласый бросил быстрый взгляд влево, на молодую женщину.

– Кто это? – спросил он. – Ты, Артур?

– Да, я. Я тебя разбудил?

– Нет-нет. Я лежу и читаю. Что-нибудь случилось?

– Правда я тебя не разбудил? Честное слово?

– Да нет же, – сказал седовласый. – Вообще говоря, я уже привык спать каких-нибудь четыре часа...

– Я вот почему звоню, Ли: ты случайно не видал, когда уехала Джоана? Ты случайно не видал, она не с Эленбогенами уехала?

Седовласый опять поглядел влево, но на этот раз не на женщину, которая теперь следила за ним, точно молодой голубоглазый ирландец-полицейский, а выше, поверх ее головы.

– Нет, Артур, не видал, – сказал он, глядя в дальний неосвещенный угол комнаты, туда, где стена сходилась с потолком. – А разве она не с тобой уехала?

– Нет, черт возьми. Нет. Значит, ты не видал, как она уехала?

– Да нет, по правде говоря, не заметил. Понимаешь, Артур, по правде говоря, я вообще сегодня за весь вечер ни черта не видел. Не успел я переступить порог, как в меня намертво вцепился этот болван – то ли француз, то ли австриец, черт его разберет. Все эти паршивые иностранцы только и ждут, как бы вытянуть из юриста даровой совет. А что? Что случилось? Джоанна потерялась?

– О черт. Кто ее знает. Я не знаю. Ты же знаешь, какова она, когда налакается и ей не сидится на месте. Ничего я не знаю. Может быть, она просто...

– А Эленбогенам ты звонил? – спросил седовласый.

– Звонил. Они еще не вернулись. Ничего я не знаю. Черт, я даже не уверен, что она уехала с ними. Знаю только одно. Только одно, черт подери. Не стану я больше ломать себе голову. Хватит с меня. На этот раз я твердо решил. С меня хватит. Пять лет. Черт подери.

– Послушай, Артур, не надо так волноваться, – сказал седовласый. – Во-первых, насколько я знаю Эленбогенов, они наверняка взяли такси, прихватили Джоанну и махнули на часок-другой в Гринвич-Вилледж. Скорее всего, они все трое сейчас вьются...

– У меня такое чувство, что она развлекается там на кухне с каким-нибудь сукиным сыном. Такое у меня чувство. Она, когда налакается, всегда бежит на кухню и вешается на шею какому-нибудь сукиному сыну. Хватит с меня. Клянусь богом, на этот раз я твердо решил. Пять лет, черт меня...

– Ты откуда звонишь? – спросил седовласый. – Из дому?

– Вот-вот. Из дому. Мой дом, мой милый дом. О черт.

– Слушай, не надо так волноваться... Ты что... ты пьян, что ли?

– Не знаю. Почему я знаю, будь оно все проклято.

– Ну погоди, ты вот что. Ты успокойся. Ты только успокойся, – сказал седовласый. – Господи, ты же знаешь Эленбогенов. Скорей всего, они просто опоздали на последний поезд. Скорей всего, они с Джоанной в любую минуту вьются к тебе с пьяными шуточками и...

– Они поехали домой.

– Откуда ты знаешь?

– От девицы, на которую они оставили детей. Мы с ней вели весьма приятную светскую беседу. Мы с ней закадычные друзья, черт подери. Нас водой не разольешь.

– Ну, ладно. Ладно. Что из этого? Может, ты все-таки возьмешь себя в руки и успокоишься? – сказал седовласый. – Наверно, они все прискачут с минуты на минуту. Можешь мне поверить. Ты же знаешь Леону. Уж не знаю, что это за чертовщина, но, когда они попадают в Нью-Йорк, всех их сразу одолевает это самое коннектикутское веселье, будь оно неладно. Ты же сам знаешь.

– Да, да. Знаю. Знаю. А, ничего я не знаю.

– Ну, конечно, знаешь. Попробуй представить себе, как было дело. Эти двое, наверно, просто силком затащили Джоанну...

– Слушай. Ее сроду никому никуда не приходилось тащить силком. И не втирай мне очки, что ее кто-то там затащил.

– Никто тебе очки не втирает, – спокойно сказал седовласый.

– Знаю, знаю! Извини. О черт, я с ума схожу. Нет, я правда тебя не разбудил? Честное слово?

– Если б разбудил, я бы так и сказал, – ответил седовласый. Он рассеянно выпустил руку женщины. – Вот что, Артур. Может, послушаешься моего совета? – Свободной рукой он взялся за провод под самой трубкой. – Я тебе серьезно говорю. Хочешь выслушать дельный совет?

– Д-да. Не знаю. А, черт, я тебе спать не даю. И почему я просто не перережу себе...

– Послушай меня, – сказал седовласый. – Первым делом, это я тебе серьезно говорю, ложись в постель и отдохни. Опрокинь стаканчик чего-нибудь покрепче на сон грядущий, укройся...

– Стаканчик? Ты что, шутишь? Да я, черт подери, за последние два часа, наверно, больше литра вылакал. Стаканчик! Я уже до того допил, что сил нет...

– Ну ладно, ладно. Тогда ложись в постель, – сказал седовласый. – И отдохни, слышишь? Подумай, ну что толку вот так сидеть и мучиться?

– Да, да, понимаю. Я бы и не волновался, ей-богу, но ведь ей нельзя доверять! Вот клянусь тебе. Клянусь, ей ни на волос нельзя доверять. Только отвернешься, и... А-а, что говорить... Проклятье, я сума схожу.

– Ладно. Не думай об этом. Не думай. Может ты сделать мне такое одолжение? – сказал седовласый. – Попробуй-ка выкинуть все это из головы. Похоже, ты... честное слово, по-моему, ты делаешь из мухи...

– А знаешь, чем я занимаюсь? *Знаешь, чем я занимаюсь?! Мне очень совестно, но сказать тебе, чем я, черт подери, занимаюсь каждый вечер, когда прихожу домой? Сказать?*

– Артур, послушай, все это не...

– Нет, погоди. Вот я тебе сейчас скажу, будь оно все проклято. Мне просто приходится держать себя за шиворот, чтоб не заглянуть в каждый стеновой шкаф, сколько их есть в квартире – клянусь! Каждый вечер, когда я прихожу домой, я так и жду, что по углам прячется целая орава сукиных сынов. Какие-нибудь лифтеры! Рассыльные! Полицейские!..

– Ну, ладно. Ладно, Артур. Попробуй немного успокоиться, – сказал седовласый. Он бросил быстрый взгляд направо: там на краю пепельницы лежала сигарета, которую закурили раньше, до телефонного звонка. Впрочем, она уже погасла, и он не соблазнился ею. – Прежде всего, – продолжал он в трубку, – я тебе сто раз говорил, Артур: вот тут-то ты и совершаешь самую большую ошибку. Ты понимаешь, что делаешь? Сказать тебе? Ты как нарочно – я серьезно говорю, – ты просто как нарочно себя растравляешь. В сущности, ты сам внушаешь Джоанне... – Он оборвал себя на полуслове. – Твое счастье, что она молодец девочка. Серьезно тебе говорю. А по-твоему, у нее так мало вкуса, да и ума, если уж на то пошло...

– Ума! Да ты шутишь? Какой там у нее, к черту, ум! Она просто животное!

Седовласый раздул ноздри, словно ему вдруг не хватило воздуха.

– Все мы животные, – сказал он. – По самой сути все мы – животные.

– Черта с два. Никакое я не животное. Я, может быть, болван, бестолочь, гнусное порождение двадцатого века, но я не животное. Ты мне этого не говори. Я не животное.

– Послушай, Артур. Так мы ни до чего не...

– Ума захотел. Господи, знал бы ты, до чего это смешно. Она-то воображает, будто она ужасная интеллектуалка. Вот где смех, вот где комедия. Читает в газете театральные новости и смотрит телевизор, покуда глаза на лоб не полезут, значит, интеллектуалка. Знаешь, кто у меня жена? Нет, ты хочешь знать, кто такая моя жена? *Величайшая артистка, писательница, психоаналитик* и вообще величайший гений во всем Нью-Йорке, только еще не проявившийся, не открытый и не признанный. А ты и не знал? О черт, до чего смешно, прямо охота перерезать себе глотку. Мадам Бовари, вольнослушательница курсов при Колумбийском университете. Мадам...

– Кто? – досадливо переспросил седовласый.

– Мадам Бовари, слушательница лекций на тему «Что нам дает телевидение». Господи, знал бы ты...

– Ну ладно, ладно. Не стоит толочь воду в ступе, – сказал седовласый. Повернулся и, поднеся два пальца к губам, сделал женщине знак, что хочет закурить. – Прежде всего, – сказал он в трубку, – черт тебя разберет, умный ты человек, а такта ни на грош. – Он приподнялся, чтобы женщина могла за его спиной дотянуться до сигарет. – Серьезно тебе говорю. Это сказывается и на твоей личной жизни, и на твоей...

– Ума захотел! Фу, помереть можно! Боже милостивый! А ты хоть раз слышал, как она про кого-нибудь рассказывает, про какого-нибудь мужчину? Вот выпадет у тебя минутка свободная, сделай одолжение, попроси, чтобы она тебе описала кого-нибудь из своих знаковых. Про каждого мужчину, который попадает ей на глаза, она говорит одно и то же: «Ужасно симпатичный». Пусть он будет распоследний, жирный, безмозглый, старый...

– Хватит, Артур, – резко перебил седовласый. – Все это ни к чему. Совершенно ни к чему. – Он взял у женщины зажженную сигарету. Она тоже закурила. – Да, кстати, – сказал он, выпуская дым из ноздрей, – а как твои сегодняшние успехи?

– Что?

– Как твои сегодняшние успехи? Выиграл дело?

– Фу, черт! Не знаю. Скверно. Я уже собирался начать заключительную речь, и вдруг этот Лисберг, адвокат истца, вытащил откуда-то дуру горничную с целой кучей простынь в качестве вещественного доказательства, а простыни все в пятнах от клопов. Брр!

– И чем же кончилось? Ты проиграл? – спросил седовласый и опять глубоко затянулся.

– А ты знаешь, кто сегодня судил? Эта старая баба Витторио. Черт его разберет, почему у него против меня зуб. Я и слова сказать не успел, а он уже на меня накинудся. С таким не сгово-

ришь, никаких доводов не слушает.

Седовласый повернул голову и посмотрел, что делает женщина. Она взяла со столика пепельницу и поставила между ними.

– Так ты проиграл, что ли? – спросил он в трубку.

– Что?

– Я спрашиваю, дело ты проиграл?

– Ну да. Я еще на вечере хотел тебе рассказать. Только не успел в этой суматохе. Как по-твоему, шеф полезет на стену? Мне-то плевать, но все-таки как по-твоему? Очень он взбесится?

Левой рукой седовласый стряхнул пепел на край пепельницы.

– Не думаю, что шеф непременно полезет на стену, Артур, – сказал он спокойно. – Но, уж надо полагать, и не обрадуется. Знаешь, сколько времени мы заправляем этими тремя паршивыми гостиницами? Еще папаша нашего Шенли основал...

– Знаю, знаю. Сынок мне рассказывал уже раз пятьдесят, не меньше. Отродясь не слыхивал ничего увлекательнее. Так вот, я проиграл это треклятое дело. Во-первых, я не виноват. Чертов псих Витторио с самого начала травил меня, как зайца. Потом безмозглая дура горничная вытащила эти простыни с клопами...

– Никто тебя не винит, Артур, – сказал седовласый. – Ты хотел знать мое мнение – очень ли обозлится шеф. Вот я и сказал тебе откровенно...

– Да знаю я, знаю... Ничего я не знаю. Кой черт! В крайнем случае могу опять податься в военные. Я тебе говорил?

Седовласый снова повернулся к женщине – может быть, хотел показать, как терпеливо, даже стоически он все это выслушивает. Но она не увидела его лица. Она нечаянно опрокинула коленом пепельницу и теперь поспешно собирала пепел в кучку; она подняла глаза секундой позже, чем следовало.

– Нет, Артур, ты мне об этом не говорил, – сказал седовласый в трубку.

– Ну да. Могу вернуться в армию. Еще сам не знаю. Понятно, я вовсе этого не жажду и не пойду на это, если сумею выкрутиться по-другому. Но, может быть, все-таки придется. Не знаю. По крайней мере, можно будет забыть обо всем на свете. Если мне опять дадут тропический шлем, и большущий письменный стол, и хорошую сетку от moskitov, может быть, это будет не так уж...

– Вот что, друг, хотел бы я вправить тебе мозги, – сказал седовласый. – Очень бы я этого хотел. Ты до черта... Ты ведь вроде неглупый малый, а несешь какой-то младенческий вздор. Я тебе это от души говорю. Из пустяка раздуваешь невесть что...

– Мне надо от нее уйти. Понятно? Еще прошлым летом надо было все кончить, тогда был такой разговор – ты это знаешь? А знаешь, почему я с нею не порвал? Сказать тебе?

– Артур. Ради всего святого. Этот наш разговор совершенно ни к чему.

– Нет, погоди. Ты слушай. Сказать тебе, почему я с ней не порвал? Так вот, слушай. Потому что мне жалко ее стало. Чистую правду тебе говорю. Мне стало ее жалко.

– Ну, не знаю. То есть, я хочу сказать, тут не мне судить, – сказал седовласый. – Только, мне кажется, ты забываешь одно: ведь Джоанна взрослая женщина. Я, конечно, не знаю, но мне кажется...

– Взрослая женщина! Да ты спятил! Она взрослый ребенок, вот она кто! Послушай, вот я бреюсь – нет, ты только послушай, – бреюсь, и вдруг здасьте, она зовет меня через всю квартиру. Я недобрит, морда вся в мыле, иду посмотреть, что у нее там стряслось. И знаешь, зачем она меня звала? Хотела спросить, как по-моему, умная она или нет. Вот честное слово! Говорю тебе, она жалкое существо. Сколько раз я смотрел на нее спящую, и я знаю, что говорю. Можешь мне поверить.

– Ну, тебе виднее... я хочу сказать, тут не мне судить, – сказал седовласый. – Черт подери, вся беда в том, что ты ничего не делаешь, чтобы исправить...

– Мы не пара, вот и все. Коротко и ясно. Мы совершенно друг другу не подходим. Знаешь, что ей нужно? Ей нужен какой-нибудь здоровенный сукин сын, который вообще не станет с ней разговаривать, – вот такой нет-нет да и даст ей жару, доведет до полнейшего бесчувствия – и

пойдет преспокойно дочитывать газету. Вот что ей нужно. Слаб я для нее, по всем статьям слаб. Я знал, еще когда мы только поженились, клянусь богом, знал. Вот ты хитрый черт, ты так и не женился, но понимаешь, перед тем как люди женятся, у них иногда бывает вроде озарения: вот, мол, какая будет моя семейная жизнь. А я от этого отмахнулся. Отмахнулся от всяких озарений и предчувствий, черт дери. Я слабый человек. Вот тебе и все.

– Ты не слабый. Только надо шевелить мозгами, – сказал седовласый и взял у молодой женщины зажженную сигарету.

– Конечно, я слабый! Конечно, слабый! А, дьявольщина, я сам знаю, слабый я или нет! Не будь я слабый человек, неужели, по-твоему, я бы допустил, чтобы все так... А-а, что об этом говорить! Конечно, я слаб... Господи боже, я тебе всю ночь спать не даю. И какого дьявола ты не повесишь трубку? Я серьезно говорю. Повесь трубку, и все.

– Я вовсе не собираюсь вешать трубку, Артур. Я хотел бы тебе помочь, если это в человеческих силах, – сказала седовласый. – Право же, ты сам себе худший...

– Она меня не уважает. Господи боже, да она меня и не любит. А в сущности, в самом последнем счете и я тоже больше ее не люблю. Не знаю. И люблю, и не люблю. Всяко бывает. То так, то эдак. О черт! Каждый раз, как я твердо решаю положить этому конец, вдруг почему-то оказывается, что мы приглашены куда-то на обед, и я должен где-то ее встретить, и она является в белых перчатках, или еще в чем-нибудь таком... Не знаю. Или я начинаю вспоминать, как мы с ней в первый раз поехали в Нью-Хейвен на матч принстонцев с йельцами. И только выехали, спустила шина, а холод был собачий, и она светила мне фонариком, пока я накачивал эту треклятую шину... ты понимаешь, что я хочу сказать. Не знаю. Или вспомнится... черт, даже неловко... вспомнятся дурацкие стихи, которые я ей написал, когда у нас только-только все начиналось. «Чуть розовеющая и лилейная, и эти губы, и глаза зеленые...» Черт, даже неловко... Эти строчки всегда напоминали мне о ней. Глаза у нее не зеленые... у нее глаза как эти проклятые морские раковины, чтоб им... но все равно, мне вспоминается... не знаю. Что толку говорить? Я с ума схожу. И почему ты не повесишь трубку? Seriously...

– Я совсем не собираюсь вешать трубку, Артур. Тут только одно...

– Как-то она купила мне костюм. На свои деньги. Я тебе не рассказывал?

– Нет, я...

– Вот так взяла и пошла к Триплеру, что ли, и купила мне костюм. Сама, без меня. О черт, я что хочу сказать, есть в ней что-то хорошее. И вот забавно, костюм пришелся почти впору. Надо было только чуть сузить в бедрах... брюки... да подкоротить. Черт, я хочу сказать, есть в ней что-то хорошее...

Седовласый послушал еще минуту. Потом резко обернулся к женщине. Он лишь мельком взглянул на нее, но она сразу поняла, что происходит на другом конце провода.

– Ну-ну, Артур. Послушай, этим ведь не поможешь, – сказал он в трубку. – Этим не поможешь. Seriously. Ну, послушай. От души тебе говорю. Будь умницей, разденься и ложись в постель, ладно? И отдохни. Джоанна скорее всего через минуту явится. Ты же не хочешь, чтобы она застала тебя в таком виде, верно? И вместе с ней скорее всего ввалятся эти черти Эленбогены. Ты же не хочешь, чтобы вся эта шатия застала тебя в таком виде, верно? – Он помолчал, вслушиваясь. – Артур! Ты меня слышишь?

– О господи, я тебе всю ночь спать не даю. Что бы я ни делал, я...

– Ты мне вовсе не мешаешь, – сказал седовласый. – И нечего об этом думать. Я же тебе сказал, я теперь сплю часа четыре в сутки. Но я бы очень хотел тебе помочь, дружище, если только это в человеческих силах. – Он помолчал. – Артур! Ты слушаешь?

– Ага. Слушай. Вот что. Все равно я тебе спать не даю. Можно я зайду к тебе и выпью стаканчик? Ты не против?

Седовласый выпрямился и свободной рукой взялся за голову.

– Прямо сейчас? – спросил он.

– Ну да. То есть если ты не против. Я только на минутку. Просто мне хочется пойти куда-то и сесть, и... не знаю. Можно?

– Да, отчего же. Но только, Артур, я думаю, не стоит, – сказал седовласый и опустил ру-

ку. – То есть я буду очень рад, если ты придешь, но, уверяю тебя, сейчас ты должен взять себя в руки, и успокоиться, и дожидаться Джоанну. Уверяю тебя. Когда она прискачет домой, ты должен быть на месте и ждать ее. Разве я не прав?

– Д-да. Не знаю. Честное слово, не знаю.

– Зато я знаю, можешь мне поверить, – сказал седовласый. – Слушай, почему бы тебе сейчас не лечь в постель и не отдохнуть, а потом, если хочешь, позвони мне опять. То есть если тебе захочется поговорить. И не волнуйся ты! Это самое главное. Слышишь? Ну как, согласен?

– Ладно.

Седовласый еще минуту прислушивался, потом опустил трубку на рычаг.

– Что он сказал? – тотчас спросила женщина.

Седовласый взял с пепельницы сигарету – выбрал среди окурков выкуренную наполовину. Затянулся, потом сказал:

– Он хотел прийти сюда и выпить.

– О боже! А ты что?

– Ты же слышала, – сказал седовласый, глядя на женщину. – Ты сама слышала. Разве ты не слыхала, что я ему говорил? – Он смял сигарету.

– Ты был изумителен. Просто великолепен, – сказала женщина, не сводя с него глаз. – Боже мой, я чувствую себя ужасной дрянью.

– Да-а, – сказал седовласый. – Положение не из легких. Уж не знаю, насколько я был великолепен.

– Нет-нет. Ты был изумителен, – сказала женщина. – А на меня такая слабость нашла. Просто ужасная слабость. Посмотри на меня.

Седовласый посмотрел.

– Да, действительно, положение невозможное, – сказал он. – То есть все это настолько неправдоподобно...

– Прости, милый, одну минутку, – поспешно сказала женщина и перегнулась к нему. – Мне показалось, ты горишь! – Быстрыми, легкими движениями она что-то смахнула с его руки. – Нет, ничего. Просто пепел. Но ты был великолепен. Боже мой, я чувствую себя настоящей дрянью.

– Да, положение тяжелое. Он, видно в скверном...

Зазвонил телефон.

– А черт! – выругался седовласый, но тотчас снял трубку. – Да?

– Ли? Я тебя разбудил?

– Нет, нет.

– Слушай, я подумал, что тебе будет интересно. Сию минуту ввалилась Джоанна.

– Что? – переспросил седовласый и левой рукой заслонил глаза, хотя лампа светила не в лицо ему, а в затылок.

– Ага. Вот только что ввалилась. Прошло, наверно, секунд десять, как мы с тобой кончили разговаривать. Вот я и решил тебе позвонить, пока она в уборной. Слушай, Ли, огромное тебе спасибо. Я серьезно – ты знаешь, о чем я говорю. Я тебя не разбудил, нет?

– Нет, нет. Я как раз... нет, нет, – сказал седовласый, все еще заслоняя глаза рукой, и откашлялся.

– Ну вот. Получилось, видно, так: Леона здорово напилась и закатила истерику, и Боб упросил Джоанну поехать с ними еще куда-нибудь выпить, пока все не утрясется. Я-то не знаю. Тебе лучше знать. Все очень сложно. Ну и вот, она уже дома. Какая-то мышьяная возня. Честное слово, это все подлый Нью-Йорк. Я вот что думаю: если все наладится, может, мы снимем домик где-нибудь в Коннектикуте. Не обязательно забираться уж очень далеко, но куда-нибудь, где можно жить по-людски, черт возьми. Понимаешь, у нее страсть – цветы, кусты и всякое такое. Если бы ей свой садик и все такое, она, верно, с ума сойдет от радости. Понимаешь? Ведь в Нью-Йорке все наши знакомые – кроме тебя, конечно, – просто психи, понимаешь? От этого и нормальный человек рано или поздно поневоле спятит. Ты меня понимаешь?

Седовласый все не отвечал. Глаза его за щитком ладони были закрыты.

– Словом, я хочу сегодня с нею об этом поговорить. Или, может быть, завтра утром. Она

все еще немножко не в себе. Понимаешь, в сущности, она ужасно славная девочка, и если нам все-таки еще можно хоть как-то все наладить, глупо будет не попробовать. Да, кстати, я заодно попытаюсь уладить эту гнусную историю с клопами. Я уж кое-что надумал. Ли, как по-твоему, если мне прямо пойти к шефу и поговорить, могу я...

– Извини, Артур, если ты не против, я бы...

– Ты только не думай, я не потому тебе звоню, что беспокоюсь из-за моей дурацкой службы или что-нибудь в этом роде. Ничего подобного. В сущности, меня это мало трогает, черт подери. Просто я подумал, если бы удалось не слишком лезть вон из кожи и все-таки успокоить шефа, так дурак я буду...

– Послушай, Артур, – прервал седовласый, отнимая руку от лица, – у меня вдруг зверски разболелась голова. Черт ее знает, с чего это. Ты извинишь, если мы сейчас кончим? Потолкуем утром, ладно? – Он слушал еще минуту, потом положил трубку.

Женщина тотчас начала что-то говорить, но он не ответил. Взял с пепельницы тлеющую сигарету – ту, что закурила она, – и поднес было к губам, но уронил. Женщина хотела помочь ему отыскать сигарету – вдруг прожжет что-нибудь, – но он сказал, чтобы она, ради всего святого, сидела смирно, – и она убрала руку.

Голубой период де Домье-Смита

Перевод: Рита Райт-Ковалева

Если бы в этом был хоть малейший смысл – чего и в помине нету, – я был бы склонен посвятить мой неприхотливый рассказ, особенно если он получится хоть немного озорным, памяти моего покойного отчима, большого озорника, Роберта Агаджаняна. Бобби-младший, как его звали все, даже я, умер в 1947 году от закупорки сосудов, вероятно, с сожалением, но без единой жалобы. Это был человек безрассудный, необыкновенно обаятельный и щедрый. (Я так долго и упорно скупился на эти пышные эпитеты, что теперь считаю делом чести воздать ему должное.)

Мои родители развелись зимой 1928 года, когда мне было восемь лет, а весной мать вышла замуж за Бобби Агаджаняна. Через год, во время финансового кризиса на Уолл-стрите, Бобби потерял все свое и мамино состояние, но, по-видимому, сохранил умение колдовать. Так или иначе, не прошло и суток, как Бобби сам превратил себя из безработного маклера и обнищавшего болвана в деловитого, хотя и не очень опытного агента-оценщика, обслуживающего объединение владельцев частных картинных галерей американской живописи, а также музеи изящных искусств. Несколько недель спустя, в начале 1930 года наша не совсем обычная троица переехала из Нью-Йорка в Париж, где Бобби мог легче заниматься своей профессией. Мне было десять лет – возраст равнодушия, если не сказать – полного безразличия, и эта серьезная перемена никакой особой травмы мне не нанесла. Пришибло меня возвращение в Нью-Йорк девять лет спустя, через три месяца после смерти матери, и пришибло со страшной силой.

Хорошо помню один случай – дня через два после нашего с Бобби приезда в Нью-Йорк. Я стоял в переполненном автобусе на Лексингтон-авеню, держась за эмалированный поручень около сиденья водителя, спиной к спине со стоявшим сзади человеком. Несколько раз водитель повторял тем, кто толпился около него: «Пройдите назад!» Кто послушался, кто – нет. Наконец, воспользовавшись красным светом, умученный водитель круто обернулся и посмотрел на меня – я стоял с ним рядом. Было мне тогда девятнадцать лет, шляпы я не носил, и гладкий, черный, не особенно чистый чуб на европейский манер спускался на прыщавый лоб. Водитель обратился ко мне негромким, даже я бы сказал осторожным, голосом.

– Ну-ка, братец, – сказал он, – убери-ка зад! – Это «братец» и взбесило меня окончательно. Не потрудившись хотя бы наклониться к нему, то есть продолжать разговор таким же частным

порядком, в таком же *bon gout*⁴, как он, я сообщил ему по-французски, что он грубый, тупой, наглый тип и что он даже не представляет себе, как я его ненавижу. И только тогда, облегчив душу, я пробрался в конец автобуса.

Но бывало и куда хуже. Как-то через неделю-другую, выходя днем из отеля «Ритц», где мы с Бобби постоянно жили, я вдруг вообразил, что из всех нью-йоркских автобусов вытащили сиденья, расставили их на тротуарах и вся улица стала играть в «море волнуется». Я и сам согласился бы поиграть в эту игру, если бы только получил гарантию от манхэттенской церкви, что все остальные участвующие будут почтительно стоять и ждать, пока я не займу свое место. Когда стало ясно, что никто мне места уступать не собирается, я принял более решительные меры. Я стал молиться, чтобы все люди исчезли из города, чтобы мне было подарено полное одиночество, да – *одиночество*. В Нью-Йорке это единственная мольба, которую не кладут под сукно и в небесных канцеляриях не задерживают: не успел я оглянуться, как все, что меня касалось, уже дышало беспросветным одиночеством. С утра до половины дня я присутствовал – не душой, а телом – на занятиях ненавистной мне художественной школы на углу Сорок восьмой улицы и Лексингтон-авеню. (За неделю до нашего с Бобби отъезда из Парижа я получил три первые премии на национальной выставке молодых художников, в галерее Фрейберг. И когда мы возвращались в Америку, я не раз смотрелся в большое зеркало нашей каюты, удивляясь своему необъяснимому сходству с Эль-Греко.) Три раза в неделю я проводил послеобеденные часы в зубо врачебном кресле – за несколько месяцев мне вырвали восемь зубов, причем три передних. Дважды в неделю я бродил по картинным галереям, большей частью на Пятьдесят седьмой улице, и еле удерживался, чтоб не освистать американских художников. Вечерами я обычно читал. Я купил полное гарвардское издание «Классиков литературы», главным образом наперекор Бобби, – он сказал, что их некуда поставить, – и назвал всем прочел эти пятьдесят томов от корки до корки. По вечерам я упрямо устанавливал мольберт между кроватями в номере, где жили мы с Бобби, и писал маслом. В один только месяц, если верить моему дневнику за 1939 год, я закончил восемнадцать картин. Примечательней всего то, что семнадцать из них были автопортретами. Только изредка, должно быть, в дни, когда моя муза капризничала, я откладывал краски и рисовал карикатуры. Одна из них сохранилась до сих пор. На ней изображена огромная человеческая пасть, над которой возится зубной врач. Вместо языка изо рта высовывается сто долларовая ассигнация, и зубной врач грустно говорит пациенту по-французски: «Думаю, что коренной зуб можно сохранить, а вот язык придется вырвать». Я обожал эту карикатуру.

Для совместного житья мы с Бобби подходили друг другу примерно так же, как, скажем, исключительно воспитанный, уступчивый студент-старшекурсник Гарвардского университета и исключительно противный кэмбриджский мальчишка-газетчик. И когда с течением времени выяснилось, что мы оба до сих пор любим одну и ту же умершую женщину, нам от этого легче не стало. Наоборот, после этого открытия между нами установились невыносимо фальшивые, приговорно-вежливые отношения. «После вас, Альфонс!» – словно говорили мы, бодро ухмыляясь друг другу при встрече на пороге ванной.

Как-то в начале мая 1939 года – мы прожили в отеле «Ритц» около десяти месяцев – в одной квебекской газете (я выписывал шестнадцать газет и журналов на французском языке) я прочел объявление на четверть колонки, помещенное дирекцией заочных курсов живописи в Монреале. Объявление призывало, и даже подчеркивало, что призывает оно весьма *fortement*⁵, – всех квалифицированных преподавателей немедленно подать заявление на должность преподавателя на самых новых, самых прогрессивных художественных заочных курсах Канады. Кандидаты должны отлично владеть как английским, так и французским языками, и только лица с безукоризненной репутацией и примерным поведением могут принимать участие в конкурсе. Летний семестр на курсах «Les Amis des Vieux Maitres»⁶ официально открывается десятого

⁴ Хорошем тоне (франц.).

⁵ Настоячиво (франц.).

⁶ «Любители великих мастеров» (франц.).

июня. Образцы работают как в области чистого искусства, так и рекламы надо было выслать на имя мосье Йошото, директора курсов, бывшего члена Императорской академии изящных искусств в Токио.

Меня тут же наполнила непреодолимая уверенность, что лучшего кандидата, чем я, не найти. Я вытащил портативную машинку Бобби из-под кровати и написал по-французски длиннейшее, неумеренно взволнованное письмо мосье Йошото; утренние занятия в своей школе я из-за этого, конечно, пропустил. От вступления – целых три страницы! – просто шел дым столбом. Я писал, что мне двадцать девять лет и что я внучатый племянник Оноре Домье. Я писал, что только сейчас, после смерти жены, я покинул небольшое родовое поместье на юге Франции и временно – это я подчеркнул особо – гошу в Америке у престарелого родственника. Рисуя я с раннего детства, но по совету Пабло Пикассо, старейшего и любимейшего друга нашей семьи, я никогда еще не выставлялся. Однако многие мои полотна – масло и акварель – в настоящее время украшают лучшие дома Парижа, притом отнюдь не дома каких-нибудь нуворишей, и уже *gagne*⁷ внимание самых выдающихся критиков нашего времени. После безвременной и трагической кончины моей супруги, последовавшей после *ulceration cancéreuse*⁸, я был глубоко уверен, что никогда больше не коснусь холста. Но недавно я почти разорился, и это заставило меня пересмотреть мое серьезнейшее *resolution*⁹. Я написал, что сочту за честь представить «Любителям великих мастеров» образцы своих работ, как только мне их вышлет мой парижский агент, которому я, разумеется, напишу *tres presse*¹⁰. И подпись: «С глубочайшим уважением Жан де Домье-Смит».

Этот псевдоним я придумывал чуть ли не дольше, чем писалось все письмо.

Письмо было написано на простой тонкой бумаге. Но запечатал я его в конверт, где стояло «Отель Ритц». Я наклеил марки для заказного письма, стащив их из ящика Бобби, и отнес конверт вниз, в специальный почтовый ящик. По пути я остановился у клерка, раздававшего почту (он явно меня ненавидел), и предупредил его о возможном поступлении писем на имя де Домье-Смита. Около половины третьего я проскользнул в свой класс: урок анатомии уже начался без четверти два. Впервые мои соученики показались мне довольно славными ребятами.

Четыре дня подряд я тратил все свое свободное – да и не совсем свободное – время на рисование образцов, как мне казалось, типичных для американской рекламы. Работая по преимуществу акварелью, но иногда для вящего эффекта переходя на рисунок пером, я изображал сверхэлегантные пары в вечерних костюмах – они прибывали в лимузинах на театральные премьеры, сухопарые, стройные, никому в жизни не причинявшие страданий из-за небрежного отношения к гигиене подмышек, впрочем, у этих существ, наверно, и подмышек не было. Я рисовал загорелых юных великанов в белых смокингах – они сидели у белых столиков около лазоревых бассейнов и с преувеличенным энтузиазмом подымали за здоровье друг друга бокалы с коктейлями, куда входил дешевый, но явно сверхмодный сорт виски. Я рисовал краснощеких, очень «рекламогеничных» детей, пышущих здоровьем, – сияя от восторга, они протягивали пустые тарелки из-под каши и приветливо просили добавку. Я рисовал веселых высокогрудых девушек – они скользили на аквапланах, не зная забот, потому что были прочно защищены от таких всенародных бедствий, как кровоточащие десна, нечистый цвет лица, излишние волосики и незастрахованная жизнь. Я рисовал домашних хозяек, и если они не употребляли лучшую мыльную стружку, то им грозила страшная жизнь: нечесанные, сутулые, они будут маяться в своих запущенных, хотя и огромных кухнях, их тонкие руки огрубеют, и дети перестанут их слушаться, а мужья разлюбят навсегда. Наконец образцы были готовы, и я тут же отправил их мосье Йошото

⁷ Привлекли (франц.).

⁸ Раковая опухоль (франц.).

⁹ Решение (франц.).

¹⁰ Срочно (франц.).

вместе с десятком произведений чистого искусства, которые я привез с собой из Франции. К ним я приложил небольшое письмецо, где сжато, но задушевно рассказывалось о том, как я без чьей бы то ни было помощи, следуя высоким романтическим традициям, преодолевал всяческие препятствия и в одиночестве достиг сияющих холодной белизной вершин мастерства.

Несколько дней я провел в напряженном ожидании, но к концу недели пришло письмо от мосье Йошото, где сообщалось, что я зачислен преподавателем курсов «Любители великих мастеров». Письмо было написано по-английски, хотя я писал по-французски. (Впоследствии я узнал, что мосье Йошото знал французский и не знал английского, и почему-то поручил ответить мадам Йошото, немного знавшей английский.) Мосье Йошото писал, что летний триместр будет, пожалуй, самым загруженным и начнется двадцать четвертого июня. Он напоминал, что мне оставалось пять недель для устройства личных дел. Он высказывал безграничное сочувствие по поводу моих материальных и моральных потерь. Он надеялся, что я смогу явиться на курсы «Любителей великих мастеров» в воскресенье двадцать третьего июня, чтобы ознакомиться со своими обязанностями, а также «завязать дружбу» с другими преподавателями. (Как я потом узнал, их оказалось всего двое – мосье и мадам Йошото). Он глубоко сожалел, что не в обычаях курсов оплачивать дорожные расходы преподавателей. Мой оклад выражался в сумме двадцати восьми долларов в неделю, и мосье Йошото писал, что вполне отдает себе отчет, насколько эта сумма невелика, но так как при этом полагается квартира и хорошее питание, то он надеется, что я не буду разочарован, тем более что он чувствует во мне истинное призвание. Он с нетерпением ждет от меня телеграммы, подтверждающей согласие, и с чувством живейшего удовольствия предвкушает мой приезд. «Ваш новый друг, директор курсов И. Йошото, бывший член Императорской академии изящных искусств в Токио».

Телеграмма, подтверждающая мое согласие, была подана через пять минут. Может быть, от волнения, а вернее из чувства вины перед Бобби (телеграмма была послана по телефону за его счет), я сдержал свой литературный пыл и, как ни странно, ограничился всего лишь десятью словами.

Вечером мы с Бобби, как всегда, встретились за обедом в Овальном зале, и я очень расстроился, увидев, что он привел с собой гостью. До сих пор я ничего не говорил ему о своих внешкольных занятиях, и мне до смерти хотелось выложить ему все новости, огоршить его, но только наедине. А тут эта гостья, очень привлекательная молодая особа, – она недавно развелась с мужем, и Бобби виделся с ней довольно часто, да и я не раз с ней сталкивался. Это была очень милая женщина, но любую ее попытку подружиться со мной, ласково уговорить меня снять свой панцирь или хотя бы поднять забрало, я предвзято толковал как невысказанное приглашение лечь с ней в постель, как только подвернется удобный случай, то есть как только ей удастся отделаться от Бобби, который, безусловно, был для нее слишком стар. Весь обед я был настроен враждебно и ограничивался краткими репликами. Только за кофе я сжато изложил свои летние планы. Выслушав меня, Бобби задал несколько деловых вопросов. Я отвечал хладнокровно, отрывисто и кратко, как неоспоримый властитель своей судьбы.

– Ах, как интересно! – сказала гостья Бобби, явно выжидая с присущей ей ветреностью, чтобы я передал ей под столом свой монреальский адрес.

– Но я думал, ты поедешь со мной на Рой-Айленд, – сказал Бобби.

– Ах, милый, не надо портить ему удовольствие! – сказала миссис Икс.

– А я и не собираюсь, – сказал Бобби, – но я бы не прочь узнать все более подробно.

Но по его тону я сразу понял, что он мысленно уже обменивает два билета в отдельном купе на одно нижнее место.

– По-моему, это самое теплое, самое лестное приглашение, какое только может быть, – с горячностью сказала мне миссис Икс. Ее глаза сверкали порочным вождением.

В то воскресенье, когда я вышел на перрон Уиндзорского вокзала в Монреале, на мне был двубортный габардиновый песочного цвета костюм (мне он казался верхом элегантности), темно-синяя фланелевая рубаша, плотный желтый бумажный галстук, коричневые с белым туфли,

шляпа-панама (взятая у Бобби и слишком тесная), а также каштановые, с рыжинкой усики трех недель от роду. Меня встречал мистер Йошото – маленький человечек, футов пяти ростом, в довольно несвежем полотняном костюме, черных башмаках и черной фетровой шляпе с загнутыми кверху полями. Без улыбки и, насколько мне помнится, без единого слова он пожал мне руку. Выражение лица у него было, как сказано во французском переводе книги Сакса Ромер про Фу Манчу, *inscrutable*¹¹. А я по неизвестной причине улыбался до ушей. Но пригасить эту улыбку, ни тем более стереть ее я никак не мог.

От вокзала до курсов пришлось ехать несколько миль в автобусе. Сомневаюсь, чтобы за всю дорогу мосье Йошото сказал хоть пять слов. То ли из-за этого молчания, то ли наперекор ему я говорил без умолку, высоко задрав левую ногу на правое колено и непрестанно вытирая потную ладонь об носок. Мне казалось, что необходимо не только повторить все прежние выдумки про родство с Домье, про покойную супругу и небольшое поместье на юге Франции, но и разукрасить это вранье. Потом, чтобы избавиться от мучительных воспоминаний (а они и на самом деле начинали меня мучить), я перешел на тему о старинной дружбе моих родителей с дорогим их сердцу Пабло Пикассо, *le pauvre Picasso*¹², как я его называл.

Кстати, выбрал я Пикассо потому, что считал, что из французских художников его лучше всех знают в США, а Канаду я тоже присоединил к США. Исклчительно ради просвещения мосье Йошото я припомнил с подчеркнутым состраданием к падшему гиганту, сколько раз я говорил нашему другу: «*Maitre Picasso, ou allez vous?*»¹³ И как в ответ на этот проникновенный вопрос старый мастер медленным, тяжким шагом проходил по мастерской и неизменно останавливался перед небольшой репродукцией своих «Акробатов», вспоминая о своей давно загубленной славе. И когда мы выходили из автобуса, я объяснил мосье Йошото, что беда Пикассо в том, что он никогда и никого не слушает, даже своих ближайших друзей.

В 1939 году «Любители великих мастеров» помещались на втором этаже небольшого, удивительно унылого с виду, трехэтажного домика, как видно, отдававшегося внаем, в самом неприглядном, верденском, районе Монреаля. Школа находилась прямо над ортопедической мастерской. «Любители великих мастеров» занимали одну большую комнату с крохотной незапиравшейся уборной. Но наперекор всему, когда я вошел в это помещение, мне оно сразу показалось удивительно приятным. И тому была причина: все стены этой «преподавательской» были увешаны картинами – главным образом акварелями работы мосье Йошото. Мне и сейчас иногда видится во сне белый гусь, летящий по невыразимо бледному, голубому небу, причем – и в этом главное достижение смелого и опытного мастера – голубизна неба, вернее дух этой голубизны, отражен в оперении птицы. Картина висела над столом мадам Йошото. Это произведение и еще две-три картины, схожие по мастерству, придавали комнате свой особый характер.

Когда я вошел в преподавательскую, мадам Йошото в красивом, черном с вишневым, шелковом кимоно подметала пол коротенькой щеткой. Это была седовласая дама, чуть ли не на голову выше своего супруга, похожая скорее на малайку, чем на японку. Она поставила щетку и подошла к нам. Мосье Йошото представил меня. Пожалуй, она была еще более *inscrutable*, чем мосье Йошото. Затем мосье Йошото предложил показать мне мою комнату, объяснив по-французски, что это комната их сына, который уехал в Британскую Колумбию работать на ферме. (После его продолжительного молчания в автобусе я обрадовался, что он заговорил, и слушал его с преувеличенным воодушевлением.) Он начал было извиняться, что в комнате сына нет стульев – только циновки на полу, но я сразу уверил его, что для меня это чуть ли не дар небес. (Кажется, я даже сказал, что ненавижу стулья. Я до того нервничал, что, скажи мне, будто в комнате его сына день и ночь стоит вода по колено, я завопил бы от восторга. Возможно, я даже сказал бы, что у меня редкая болезнь ног, требующая ежедневного и, по крайней мере, восьмичасо-

¹¹ Непроницаемо (франц.).

¹² Бедняга Пикассо (франц.).

¹³ Куда вы идете, мэтр Пикассо? (франц.).

вого погружения их в воду.) Мы поднялись наверх по шаткой деревянной лесенке. Мимоходом я подчеркнул в разговоре, что изучаю буддизм. Впоследствии я узнал, что и он, и мадам Йошото пресвитериане.

До поздней ночи я не спал – малайско-японский обед мадам Йошото *en masse*¹⁴ то и дело подкатывался кверху, как лифт, распирая желудок, а тут еще кто-то из супругов Йошото застонал во сне за перегородкой. Стон был высокий, тонкий, жалобный; казалось, что стонет не взрослый человек, а несчастный недоношенный ребенок или мелкая искалеченная зверушка. (Ни одна ночь не проходила без концерта, но я так и не узнал, кто из них издавал эти звуки и по какой причине.) Когда мне стало совсем невыносимо слушать стоны в лежащем положении, я встал, сунул ноги в ночные туфли и в темноте уселся на пол, на одну из циновок. Просидел я так часа два и выкурил несколько сигарет – тушить их приходилось о подошву туфли, а окурки класть в карман пижамы. (Сами Йошоты не курили, и в доме не было ни одной пепельницы.) Уснул я только часов в пять утра.

В шесть тридцать мосье Йошото постучал в мою дверь и сообщил, что завтрак будет подан без четверти семь. Он спросил через двери, хорошо ли я спал, и я ответил: «Oui»¹⁵. Я оделся, выбрав синий костюм как самый подходящий для преподавателя в день открытия курсов и к нему красный, ручной работы галстук – мне его подарила мама, – и, не умываясь, побежал по коридору на кухню. Мадам стояла у плиты, готовя на завтрак рыбу. Он молчаливо кивнул мне. Никогда еще они не выглядели более *inscrutable*. Вскоре мне подали какую-то рыбину со слабыми, но довольно явными следами засохшего кетчупа на краю тарелки. Мадам Йошото спросила меня по-английски – выговор у нее был неожиданно приятный, – может быть, я предпочитаю яйца, но я сказал: «Non, non, merci, madame»¹⁶. Я добавил, что никогда не ем яиц. Мосье Йошото прислонил свою газету к моему стакану, и мы все трое молча стали есть, вернее, они оба ели, а я, также молча, с усилием глотал пищу.

После завтрака мосье Йошото тут же, на кухне, натянул рубашку без воротника, мадам Йошото сняла передник, и мы все трое гуськом, с некоторой неловкостью, проследовали вниз, в преподавательскую. Там, на широком столе мосье Йошото, были грудой навалены штук десять огромных пухлых нераспечатанных конвертов из плотной бумаги. Мне они показались какими-то вымытыми, причесанными – совершенно, как школьники-новички. Мосье Йошото указал мне место за столом, стоявшим в дальнем углу комнаты, и попросил сесть. Мадам Йошото подсела к нему, и они стали вскрывать конверты. В том, как раскладывалось и рассматривалось содержимое, по-видимому, была какая-то система, они все время советовались по-японски, тогда как я, сидя в другом конце комнаты в своем синем костюме и красном галстуке, старался всем видом показать, как терпеливо и в то же время заинтересованно я жду указаний, а главное – какой я тут незаменимый человек. Из внутреннего кармана я вынул несколько мягких карандашей, привезенных из Нью-Йорка, и, стараясь не шуметь, разложил их на столе. А когда мосье Йошото, должно быть случайно, взглянул в мою сторону, я одарил его сверхобаятельной улыбкой. Внезапно, не сказав мне ни слова и даже не взглянув в мою сторону, они оба разошлись к своим столам и взялись за работу. Было уже половина восьмого.

Около девяти мосье Йошото снял очки и, шаркая ногами, прошлепал к моему столу – в руках он держал стопку рисунков. Полтора часа я просидел без всякого дела, с усилием сдерживая бурчание в животе. Когда он приблизился, я торопливо встал ему навстречу, слегка сутулясь, чтобы не смущать его своим высоким ростом. Он вручил мне принесенные рисунки и вежливо спросил, не буду ли я так добр перевести его замечания с французского на английский. Я сказал: «Oui, monsieur». С легким поклоном он прошаркал назад, к своему столу. Я отодвинул карандаши, вынул авторучку и с тоской в душе принялся за работу.

¹⁴ Целиком (франц.).

¹⁵ Да (франц.).

¹⁶ Нет, нет, спасибо, мадам (франц.).

Как и многие другие, по-настоящему хорошие художники, мосье Йошото как преподаватель стоял ничуть не выше любого посредственного живописца с кое-какими педагогическими способностями. Его практические поправки, то есть его рисунки, нанесенные на кальку поверх рисунков учащихся, вместе с письменными замечаниями на обороте рисунков вполне могли показать мало-мальски способному ученику, как похоже изобразить свинью или даже как живописно изобразить свинью в живописном хлеву. Но никогда в жизни он не сумел бы научить кого-нибудь отлично написать свинью и так же отлично хлев, а ведь передачи, к тому же заочной, именно этого небольшого секрета мастерства и добивались от него так жадно наиболее способные ученики. И не в том, разумеется, было дело, что он сознательно или бессознательно скрывал свой талант или не расточал его из скупости, он просто не умел его передать. Сначала эта жесткая правда как-то не затронула и не поразила меня. Но представьте себе мое положение, когда доказательства его беспомощности все накапливались и накапливались. Ко второму завтраку я дошел до такого состояния, что должен был соблюдать величайшую осторожность, чтобы не размазать строчку перевода потными ладонями. В довершение всего у мосье Йошото оказался на редкость неразборчивый почерк. И когда настала пора идти завтракать, я решительно отверг приглашение четы Йошото. Я сказал, что мне надо на почту. Сбежав по лестнице, я наугад углубился в путаницу незнакомых, запущенных улочек. Увидав закусочную, я забежал туда, проглотил четыре «с пылу, с жару» кони-айлендские колбаски и выпил три чашки мутного кофе.

Возвращаясь к «*Les Amis de Vieux Maitres*», я ощутил сначала привычную смутную тревогу – правда, с ней я, по прошлому опыту, более или менее умел справляться, но тут она перешла в настоящий страх: неужели мои личные качества тому виной, что мосье Йошото не нашел для меня лучшего дела, чем эти переводы? Неужто старый Фу Маньчжу раскусив меня, понял, что я не только хотел сбить его с толку всякими выдумками, но что я, девятнадцатилетний мальчишка, и усы отрастил для того. Думать об этом было невыносимо. Вера моя в справедливость медленно подтачивалась. В самом деле, меня, меня, получившего три первые премии, меня, личного друга Пикассо (я уже сам начал в это верить), меня использовать как переводчика! Мое преступление никак не заслужило такого наказания. И вообще эти усики, пусть жидкие, но мои собственные, разве они наклеены? Для успокоения я все время по дороге на курсы теребил их пальцами. Но чем больше я думал о своем положении, тем быстрее я шел и под конец уже бежал бегом, будто боясь, что меня со всех сторон вот-вот забросают камнями.

Хотя я потратил на завтрак всего минут сорок, чета Йошото уже сидела за столами и работала. Они не подняли глаз, не подали виду, что заметили, как я вошел. Потный, запыхавшийся, я сел за свой стол. Минут пятнадцать – двадцать я сидел, вытянувшись в струнку и придумывая новехонькие анекдоты про старика Пикассо на тот случай, если мосье Йошото вдруг поднимется и станет меня разоблачать меня. И тут он действительно поднялся и пошел ко мне. Я встал, готовый, если понадобится, встретить его в упор свеженькой сплетней про Пикассо, но, когда он подошел к столу, все, что я придумал, к моему ужасу, вылетело у меня из головы. Но я воспользовался моментом, чтобы выразить свой восторг по поводу изображения гуся в полете, висящего над столом мадам Йошото. Я рассыпался в самых щедрых похвалах. Я сказал, что у меня в Париже есть знакомый богач – паралитик, как я объяснил, – который не пожалеет никаких денег за картину мосье Йошото. Я сказал, что если мосье Йошото согласен, я могу немедленно связаться с Парижем. К счастью, мосье Йошото объяснил, что картина принадлежит его кузену, гостящему сейчас у родных в Японии. И тут же, прежде чем я успел выразить сожаление, он, назвав меня «мосье Домье-Смит», спросил, не буду ли я так добр исправить несколько заданий. Он пошел к своему столу и вернулся с тремя огромными пухлыми конвертами. Я стоял, обалделый, машинально кивая головой и ощупывая карман пиджака, куда я засунул все карандаши. Мосье Йошото объяснил мне метод преподавания на курсах (вернее было сказать, отсутствие всякого метода). Он вернулся к своему столу, а я все еще никак не мог прийти в себя.

Все три ученика писали нам по-английски. Первый конверт прислала двадцатитрехлетняя домохозяйка из Торонто – она выбрала себе псевдоним Бэмби Кремер, – так ей и надлежало адресовать письма. Все вновь поступающие на курсы «Любители великих мастеров» должны были заполнить анкету и приложить свою фотографию. Мисс Кремер приложила большую глянцевую

фотокарточку, восемь на девять дюймов, где она была изображена с браслетом на щиколотке, в купальном костюме без бретелек и в белой морской бескозырке. В анкете она сообщила, что ее любимые художники Рембрандт и Уолт Дисней. Она писала, что надеется когда-нибудь достичь их славы. Образцы рисунков были несколько пренебрежительно подколоты снизу к ее портрету. Все они вызывали удивление. Но один был незабываемым. Это незабываемое произведение было выполнено яркими акварельными красками, с подписью, гласившей: «И прости им прегрешения их». Оно изображало трех мальчуганов, ловивших рыбу в каком-то странном водоеме, причем чья-то курточка висела на доске с объявлением: «Ловля рыбы воспрещается». У самого высокого мальчишки на переднем плане одна нога была поражена рахитом, другая – слоновой болезнью – очевидно, мисс Кремер таким способом старалась показать, что он стоит, слегка расставив ноги.

Вторым моим учеником оказался пятидесятишестилетний «светский фотограф», по имени Р. Говард Риджфилд, из города Уиндзор, штат Онтарио. Он писал, что его жена годами не дает ему покоя, требуя, чтобы он тоже «втерся в это выгодное дельце» – стал художником. Его любимые художники – Рембрандт, Сарджент и «Тицян», но он благоразумно добавлял, что сам он в их духе работать не собирается. Он писал, что интересуется скорее сатирической стороной живописи, чем художественной. В поддержку своего кредо он приложил изрядное количество оригинальных произведений – масло и карандаш. Одна из его картин – по-моему, главный его шедевр – навеки врезалась мне в память: так привязываются слова популярных песенок. Это была сатира на всем знакомую, будничную трагедию невинной девицы, с длинными белокурыми локонами и вымеобразной грудью, которую преступно соблазнял в церкви, так сказать, прямо под сенью алтаря, ее духовник. Художник графически подчеркнул живописный беспорядок в одежде своих персонажей. Но гораздо больше, чем обличительный сатирический сюжет, меня потрясли стиль работы и характер выполнения. Если бы я не знал, что Риджфилд и Бэмби Кремер живут на расстоянии сотен миль друг от друга, я поклялся бы, что именно Бэмби Кремер помогала Риджфилду с чисто технической стороны.

Не считая исключительных случаев, у меня в девятнадцать лет чувство юмора было самым уязвимым местом и при первых же неприятностях отмирало иногда частично, а иногда полностью. Риджфилд и мисс Кремер вызвали во мне множество чувств, но не рассмешили ни на йоту. И когда я просматривал их работы, меня не раз так и подмывало вскочить и обратиться с официальным протестом к мосье Йошото. Но я не совсем представлял себе, в какой форме выразился бы этот протест. Должно быть, я боялся, что, подойдя к его столу, я закричу срывающимся голосом: "У меня мать умерла, приходится жить у ее милейшего мужа, и в Нью-Йорке никто не говорит по-французски, а в комнате вашего сына даже стульев нет! Как же вы хотите, чтобы я учил этих двух идиотов рисовать?"

Но я так и не встал с места – настолько я приучил себя сдерживать приступы отчаяния и не метаться зря. И я открыл третий конверт.

Третьей моей ученицей оказалась монахиня женского монастыря Святого Иосифа, по имени сестра Ирма, преподававшая «кулинарию и рисование» в начальной монастырской школе, неподалеку от Торонто. Не знаю, как бы лучше начать описание того, что было в ее конверте. Во-первых, надо сказать, что вместо фотографии сестра Ирма без всяких объяснений прислала вид своего монастыря. Помнится также, что она не заполнила графу «возраст». Но с другой стороны, ни одна анкета в мире не заслуживает, чтобы ее заполняли так, как заполнила ее сестра Ирма. Она родилась и выросла в Детройте, штат Мичиган, ее отец «в миру» служил «в отделе контроля автомашин». Кроме начального образования, она еще год проучилась в средней школе. Рисованию нигде не обучалась. Она писала, что преподает рисование лишь потому, что сестра такая-то скончалась, и отец Циммерман (я особенно запомнил эту фамилию, потому что так звали зубного врача, вырвавшего мне восемь зубов), – отец Циммерман выбрал ее в заместительницы покойной. Она писала, что у нее в классе кулинарии 34 крошки, а в классе рисования 18 крошек. Любит она больше всего «Господа и Слово божье» и еще любит «собирать листья, но только когда они уже сами опадают на землю». Любимым ее художником был Дуглас Бантинг (сознаюсь, что я много лет искал такого художника, но и следа не нашел). Она писала еще, что ее

крошки «любят рисовать бегущих человечков, а я этого совсем не умею». Она писала, что будет очень стараться, чтобы научиться лучше рисовать, и надеется, что «мы будем к ней снисходительны».

В конверт были вложены всего шесть образцов ее работы. (Все они были без подписи – само по себе это мелочь, но в тот момент мне необычайно понравилось.) И Бэмби Кремер, и Риджфилд ставили под картинами свою подпись или – что меня раздражало еще больше – свои инициалы. С тех пор прошло тринадцать лет, а я не только ясно помню все шесть рисунков сестры Ирмы, но четыре из них я вспоминаю настолько отчетливо, что это иногда нарушает мой душевный покой. Лучшая ее картина была написана акварелью на оберточной бумаге. (На коричневой оберточной бумаге, особенно на очень плотной, писать так удобно, так приятно. Многие серьезные мастера писали на ней, особенно когда у них не было какого-нибудь грандиозного замысла.)

Несмотря на небольшой размер, примерно десять на двенадцать дюймов, на картине очень подробно и тщательно было изображено перенесение тела Христа в пещеру сада Иосифа Аримафейского. На переднем плане, справа, два человека, очевидно слуги Иосифа, довольно неловко несли тело. Иосиф (Аримафейский) шел за ними. В этой ситуации он, пожалуй, держался слишком прямо. За ним на почтительном расстоянии среди разношерстной, возможно явившейся без приглашения, толпы плакальщиц, зевак, детей шли жены галилейские, а около них безбожно резвилось не меньше дворняжек.

Но больше всех привлекла мое внимание женская фигура на переднем плане, слева, стоявшая лицом к зрителю. Вскинув правую руку, она отчаянно махала кому-то – может быть, ребенку или мужу, а может, и нам, зрителям, – бросай все и беги сюда. Сияние окружало головы двух женщин, идущих впереди толпы. Под рукой у меня не было Евангелия, поэтому я мог только догадываться, кто они. Но Марию Магдалину я узнал тотчас же. Во всяком случае, я был убежден, что это она. Она шла впереди, поодаль от толпы, уронив руки вдоль тела. Горе свое она, как говорится, напоказ не выставляла – по ней совсем не было видно, насколько близко ей был Усопший в последние дни. Как все лица, и ее лицо было написано дешевой краской телесного цвета. Но было до боли ясно, что сестра Ирма сама поняла, насколько не подходит эта готовая краска, и неумело, но от всей души попыталась как-то смягчить тон. Других серьезных недостатков в картине не было. Вернее сказать, всякая критика уже была бы придижкой. По моим понятиям, это было произведение истинного художника, с печатью высокого и в высшей степени самобытного таланта, хотя одному богу известно, сколько упорного труда было вложено в эту картину.

Первым моим побуждением было – броситься с рисунками сестры Ирмы к мосье Йошото. Но я и тут не встал с места. Не хотелось рисковать – вдруг сестру Ирму отнимут у меня? Поэтому я аккуратно закрыл конверт и отложил в сторону, с удовольствием думая, как вечером, в свободное время, я поработаю над ее рисунками. Затем с терпимостью, которой я в себе и не подозревал, я великодушно и доброжелательно стал править обнаженную натуру – мужчин и женщин (sans¹⁷ признаков пола), жеманно и непристойно изображенных Р. Говардом Риджфилдом. В обеденный перерыв я расстегнул три пуговицы на рубашке и засунул конверт сестры Ирмы туда, куда было не добраться ни вора, ни – тем более! – самим супругам Йошото.

Все вечерние трапезы в школе происходили по негласному, но нерушимому ритуалу. Ровно в половине шестого мадам Йошото вставала и уходила наверх готовить обед, а мы с мосье Йошото обычно гуськом приходили туда же ровно в шесть. Никаких отклонений с пути, хотя бы они и были вызваны требованиями гигиены или неотложной необходимости, не полагалось. Но в тот вечер, согретый конвертом сестры Ирмы, лежавшем у меня на груди, я впервые чувствовал себя спокойным. Больше того, за этим обедом я был настоящей душой общества. Я рассказал про Пикассо такой анекдот, пальчики оближешь! – пожалуй, было бы нелишне приберечь его на черный день. Мосье Йошото только слегка опустил свою японскую газету, зато мадам как будто заинтересовалась; во всяком случае, полного отсутствия интереса заметно не было. А когда я окончил, она впервые обратилась ко мне, если не считать утреннего вопроса: не хочу ли я съесть

¹⁷ Без (франц.).

яйцо? Она спросила: может быть, мне все-таки поставить стул в комнату? Я торопливо ответил: «Non, non, merci, madame». Я объяснил, что всегда придвигаю циновки к стене и таким образом приучаюсь держаться прямо, а мне это очень полезно. Я даже встал, чтобы продемонстрировать, до чего я сутулюсь.

После обеда, когда чета Йошото обсуждала по-японски какой-то, может быть и весьма увлекательный, вопрос, я попросил разрешения уйти из-за стола. Мосье Йошото взглянула на меня так, будто не совсем понимала, каким образом я очутился у них на кухне, но кивнул в знак согласия, и я быстро прошел по коридору к себе в комнату.

Включив полный свет и заперев двери, я вынул из кармана свои карандаши, потом снял пиджак, расстегнул рубашку и, не выпуская конверт сестры Ирмы из рук, сел на пол, на циновку. Почти до пяти утра, разложив все, что надо, на полу, я старался оказать сестре Ирме в ее художественных исканиях ту помощь, в какой она, по моему убеждению, нуждалась.

Первым делом я набросал штук десять-двенадцать эскизов карандашом. Не хотелось идти в преподавательскую за бумагой, и я рисовал на своей собственной почтовой бумаге с обеих сторон. Покончив с этим, я написал длинное, бесконечно длинное письмо.

Всю жизнь я коплю всякий хлам, не хуже какой-нибудь сороки-неврастенички, и у меня до сих пор сохранился предпоследний черновик письма, написанного сестре Ирме в ту июньскую ночь 1939 года. Я мог бы дословно переписать все письмо, но это лишнее. Множество страниц – а их и вправду было множество – я посвятил разбору тех незначительных ошибок, которые она допустила в своей главной картине, особенно выборе красок. Я перечислил все принадлежности, необходимые ей как художнику, с указанием их приближенной стоимости. Я спросил, кто такой Дуглас Бантинг. Я спросил, где я мог бы посмотреть его работы. Я спросил ее (понимая, что это политика дальнего прицела), видела ли она репродукции с картин Антонелло да Мессина. Я спросил ее – напишите мне, пожалуйста, сколько вам лет, и пространно уверил ее, что сохранию в тайне эти сведения, ежели она их мне сообщит. Я объяснил, что справляюсь об этом по той причине, что мне так будет легче подобрать наиболее эффективный метод преподавания. И тут же, единым духом, я спросил, разрешают ли принимать посетителей в монастыре.

Последние строки, вернее последние кубические метры моего письма, лучше всего воспроизвести дословно, не изменяя ни синтаксис, ни пунктуацию.

"... Если вы владеете французским языком, прошу вас поставить меня в известность, так как лично я умею более точно выражать свои мысли на этом языке, прожив большую часть своей молодости в Париже, Франция.

Очевидно, вы весьма заинтересованы в том, чтобы научиться рисовать бегущих человечков и впоследствии передать технику этого рисунка своим ученицам в монастырской школе. Прилагаю для этой цели несколько набросков, может быть, они вам пригодятся. Вы увидите, что сделаны они наспех, очень далеки от совершенства и подражать им не следует, но надеюсь, что вы увидите в них те основные приемы, которые вас интересуют. Боюсь, что директор наших курсов не придерживается никакой системы в преподавании. К несчастью, это именно так. Вашими успехами я восхищаюсь, вы уже далеко пошли, но я совершенно не представляю себе, чего он хочет от меня и как мне быть с другими учащимися, людьми умственно отсталыми и, по моему мнению, безнадежно тупыми.

К сожалению, я агностик. Однако я поклонник святого Франциска Ассизского, хотя – что само собой понятно – чисто теоретически. Кстати, известно ли вам досконально, что именно он (Франциск Ассизский) сказал, когда ему собирались выжечь глаз каленым железом? Сказал он следующее: «Брат огонь, Бог дал тебе красоту и силу на пользу людям, молю же тебя – будь милостив ко мне». В ваших картинах есть что-то очень хорошее, напоминающее его слова, так мне, по крайней мере, кажется. Между прочим, разрешите узнать, не является ли молодая особа в голубой одежде, на первом плане, Марией Магдалиной? Я говорю о картине, которую мы только что обсудили. Если нет, значит, я глубоко заблуждаюсь. Впрочем, мне это свойственно.

Надеюсь, что вы будете считать меня в полном вашем распоряжении, пока вы обучаетесь на курсах «Любители великих мастеров». Говоря откровенно, я считаю вас необыкновенно та-

лантливой и ничуть не удивлюсь, если в самом ближайшем будущем вы станете великим художником. По этой причине я и спрашиваю вас, является ли молодая особа в голубой одежде, на первом плане, Марией Магдалиной, потому что если это так, то боюсь, что в ней больше выражен ваш врожденный талант, чем ваши религиозные убеждения. Однако, по моему мнению, бояться тут нечего.

С искренней надеждой, что мое письмо застанет вас в добром здравии, остаюсь

Уважающий вас (тут следовала подпись) Жан де Домье-Смит, штатный преподаватель курсов «Любители великих мастеров».

Постскриптум. Чуть не забыл предупредить вас, что слушатели обязаны представлять в школу свои работы каждые две недели, по понедельникам. В качестве первого задания попрошу вас сделать несколько набросков с натуры. Пишите свободно, без напряжения. Разумеется, я не осведомлен, сколько свободного времени уделяют вам в вашем монастыре для личных занятий искусством, и прошу поставить меня об этом в известность. Также прошу вас приобрести те необходимые пособия, которые я имел смелость перечислить выше, так как я хотел бы, чтобы вы начали писать маслом как можно скорее. Простите меня, если я скажу прямо, но мне кажется, что вы натура страстная, порывистая, и вам надо писать не акварелью, а скорее переходить на масло. Говорю это в совершенно отвлеченном смысле, вовсе не желая вас обидеть, наоборот, я считаю это похвалой. Прошу вас также переслать мне все ваши прежние работы, какие только сохранились, я жажду увидеть их поскорее. Не стану говорить, как невыносимо для меня будут тянуться дни, пока не придет ваше письмо.

Если это не слишком большая смелость с моей стороны, то я бы очень хотел узнать от вас, удовлетворяет ли вас монастырская жизнь, разумеется – в чисто духовном смысле. Скажу откровенно, что я изучал множество религий с чисто научной точки зрения, главным образом по 36-му, 44-му и 45-му тому «Классических произведений» в гарвардском издании, с которым вы, быть может, знакомы. Особенно я восхищаюсь Мартином Лютером, но, конечно, он был протестант. Пожалуйста, не обижайтесь на меня. Я не защищаю ни одного вероисповедания – это не в моем характере. В заключение этого письма еще раз прошу: не забудьте сообщить мне часы приема, так как конец недели у меня всегда свободен и я могу случайно оказаться в ваших краях в субботу. Пожалуйста, не забудьте также сообщить мне, владеете ли вы французским языком, потому что вопреки всем моим стараниям я с трудом нахожу слова на английском языке, так как получил беспорядочное и, честно говоря, неразумное воспитание".

В половине четвертого утра я вышел на улицу, чтобы опустить в почтовый ящик письмо сестре Ирме вместе с рисунками. Буквально ошалев от радости, я разделся, еле двигая руками, и повалился на кровать.

Уже сквозь сон за перегородкой я услышал стон из супружеской спальни Йошото. Я представил себе, как утром они оба подходят ко мне и просят, нет, умоляют, выслушать то, что их мучает, до самых последних, самых страшных подробностей. Я отчетливо представил себе, как это будет. Я сяду между ними за кухонный стол и выслушаю по очереди каждого из них. Опустив голову на руки, я буду их слушать, слушать, слушать, пока наконец у меня не лопнет терпение. И тогда я запущу руку прямо в горло мадам Йошото, выну ее сердце и, как птичку, согрею его в руках. А когда они успокоятся, я покажу им рисунки сестры Ирмы, и они разделят мою радость.

Обычно явные истины познаются слишком поздно, но я понял, что основная разница между счастьем и радостью – это то, что счастье – твердое тело, а радость – жидкое. Радость, переполнявшая меня, стала утекать уже с утра, когда мосье Йошото положил на мой стол два конверта от новых учеников. В ту минуту я мирно и беззлобно работал над рисунком Бэмби Кремер, зная, что мое письмо к сестре Ирме уже ушло. Но я никак не ожидал, что придется столкнуться с таким уродливым явлением и с двумя людьми, еще более бездарными, чем Бэмби или Р. Говард Риджфилд. Чувствуя, как все мои добрые намерения испаряются, я закурил – это была первая сигарета, выкуренная в преподавательской комнате со дня моего вступления в штат. Сигарета

помогла, и я снова взялся за рисунки Бэмби. Но не успел я затянуться раза три-четыре, как почувствовал, что мосье Йошото смотрит мне в спину. И, словно в подтверждение, я услышал, как он отодвигает стул. Я встал ему навстречу, когда он подходил. Донельза противным шепотом он объяснил мне, что лично он не возражает против курения, но что, увы, школьные правила запрещают курить в преподавательской. Он широким жестом остановил поток моих извинений и вернулся в свой угол, к мадам Йошото. В совершенном ужасе я подумал, как бы мне выдержать эти тридцать дней до понедельника, когда должно было прийти письмо от сестры Ирмы, и не спать окончательно.

Это было во вторник утром. Весь этот день и оба следующие дня я развил лихорадочную деятельность. Я, так сказать, распотрошил до основания все рисунки Бэмби Кремер и Р. Говарда Риджфилда и собрал их заново, заменив некоторые части новыми. Я приготовил для них буквально десятки оскорбительных для нормального человека, но вполне конструктивных упражнений по рисунку. Я написал им подробнейшие письма. Р. Говарда Риджфилда я упрашивал на время отказаться от карикатур. Со всей возможной деликатностью я просил Бэмби, если можно, хотя бы временно воздержаться от посылки рисунков с заголовками вроде «И прости им прегрешения их». А в четверг утром, взвинченный до предела, я занялся одним из новых учеников, американцем из города Бангор, в штате Мэн, который писал в анкете с многословием честного простака, что его любимый художник он сам. Он именовал себя реалистом-абстракционистом.

Внеслужебные часы я провел так: во вторник вечером поехал на автобусе в центре Монреала и высидал в третьеразрядном кино целую мультипликационную программу – шел фестиваль мультфильмов, – причем меня главным образом заставили любоваться бесконечным хороводом кошек, которых целые полчища мышей бомбардировали пробками от шампанского. В среду вечером я собрал все циновки в комнате, навалил их друг на друга и стал по памяти копировать картину сестры Ирмы «Погребение Христа».

Чувствую большое искушение назвать четверговый вечер странным, может быть, даже зловещим, но, по правде сказать, для описания этого вечера у меня просто не хватает слов. Я ушел из дому после обеда и пошел куда глаза глядят, не то в кино, не то просто прогуляться, – не помню, а мой дневник за 1939 год на этот раз меня подвел: в тот день страница так и осталась пустой.

Но я знаю, почему она пустая. Возвращаясь домой после как-то проведенного вечера, – ясно помню, что стемнело, – я остановился на тротуаре перед курсами и взглянул на освещенную витрину ортопедической мастерской. И тут я испугался до слез. Меня пронзила мысль, что как бы спокойно, умно и благородно я ни научился жить, все равно *до самой смерти я навек обречен бродить* чужестранцем по саду, где растут одни эмалированные горшки и подкладные судна и где царит безглазый слепой деревянный идол – манекен, облаченный в дешевый грыжевой бандаж. Непереносимая мысль – хорошо, что она мелькнула лишь на секунду. Помню, что я взлетел по лестнице в свою комнату, сбросил с себя все и нырнул в постель, даже не открыв дневника.

Но заснуть я не мог, меня била лихорадка. Я слушал стоны из соседней комнаты и заставлял себя думать о лучшей моей ученице. Я старался представить себе, как я приеду к ней в монастырь. Я видел – вот она выходит мне навстречу, к высокой решетчатой ограде, робкая, прелестная девушка лет восемнадцати, еще не принявшая постриг, – она еще была вольна уйти в мир со своим избранником, так похожим на Пьера Абеляра. Я видел, как мы медленно и молчаливо проходим в глубину зеленого монастырского сада и там бездумно и безгрешно я обвиваю рукой ее талию. Трудно было удержать этот неземной образ, и, дав ему улетучиться, я погрузился в сон.

В пятницу я проработал как каторжный все утро и полдня, пытаюсь при помощи карандаша и кальки переделать в сколько-нибудь похожие деревья тот лес фаллических символов, который добросовестно изобразил на прекрасной веленовой бумаге гражданин города Бангор, в штате Мэн. К половине пятого я так отупел умственно, душевно и физически, что едва привстал, когда мосье Йошото на минуту подошел к моему столу. Он подал мне конверт – так же равнодушно, как официант подает меню. Это было письмо настоятельницы монастыря, где находилась сестра

Ирма, доведившее до сведения мосье Йошото, что отец Циммерман по не зависящим от него обстоятельствам был вынужден изменить свое решение и не может позволить сестре Ирме заниматься на курсах «Любители великих мастеров». В письме выражалось глубокое сожаление в случае, если это вызовет какие-либо затруднения или неприятности для администрации курсов, а также искренняя надежда, что первый взнос на право учения в размере четырнадцати долларов, будет возмещен монастырю.

Я всегда был твердо уверен, чтомышь, обжегшись искрой, летящей от фейерверка, хромает восвоей с готовым, безукоризненно продуманным планом, как убить кота. Прочитав и перечитав письмо матери-настоятельницы, я долго не отрываясь смотрел на него и вдруг, оторвавшись от созерцания, одним духом написал письма остальным моим ученикам – всем четверем, советуя им навсегда отказаться от мысли стать художниками. Я написал каждому в отдельности, что это пустая трата драгоценного времени, как своего, так и преподавательского. Я написал все письма по-французски. Окончив их, я тут же вышел и опустил их в ящик. И хотя чувство удовлетворения длилось недолго, но в эти минуты мне было очень-очень приятно.

Когда пришло время торжественно проследовать на кухню, я попросил извинить меня. Я сказал, что чувствую себя неважно. (Тогда, в 1939 году, я лгал куда убедительнее, чем говорил правду, и ясно видел, с каким подозрением взглянул на меня мосье Йошото, когда я сказал, что неважно себя чувствую.) Я поднялся к себе в комнату и сел на пол. Просидел я так больше часу, уставившись на светлеющую щелку в шторе, не куря, не снимая пиджака, не развязывая галстука. Потом вдруг вскочил, достал свою почтовую бумагу и написал второе письмо сестре Ирме, не у письменного стола, а прямо тут же на полу.

Письмо я так и не отправил. Привожу точную копию оригинала:

"Монреаль. Канада. 28 июня, 1939 г.

Дорогая сестра Ирма!

Неужели я нечаянно написал вам в последнем моем письме что-либо обидное или неуважительное и тем привлек внимание отца Циммермана и вам доставил неприятность? В таком случае осмеливаюсь просить вас дать мне хотя бы возможность извиниться за слова, сказанные с горячим желанием стать не только вашим учителем, но и вашим другом. Может быть, моя просьба слишком нескромна? Думаю, что это не так.

Скажу вам всю правду: не постигнув хотя бы элементарных основ мастерства, вы навек останетесь, может быть, и очень, очень интересным художником, но никогда не будете великим мастером. При этой мысли мне становится страшно. Отдаете ли вы себе отчет, насколько это серьезно?

Возможно, отец Циммерман заставит вас отказаться от занятий, решив, что они помешают вам выполнять долг благочестия. Если это так, то я обязан сказать, что он судит слишком поспешно и опрометчиво. Искусство никак не могло бы вам помешать вести монашескую жизнь. Я сам хоть и грешник, но живу как монах. Самое худшее, что бывает с художником, – это никогда не знать полного счастья. Но я убежден, что никакой трагедии в этом нет. Много лет назад, когда мне было семнадцать, я пережил самый счастливый день в жизни. Я должен был встретиться за завтраком со своей матерью – в этот день она впервые вышла на улицу после долгой болезни, – и я чувствовал себя абсолютно счастливым, как вдруг, проходя по авеню Виктора Гюго – это улица в Париже, – я столкнулся с человеком без всяких признаков носа. Покорно прошу, нет, умоляю вас – продумайте этот случай. В нем скрыт глубочайший смысл.

Возможно также, что отец Циммерман велел вам прервать обучение, потому что не имеет возможности оплатить преподавание. Буду рад, если это так, не только потому, что это снимает с меня вину, но и практическом отношении. Если причина действительно такова, то достаточно одного вашего слова, и я готов безвозмездно предложить вам свои услуги на неограниченное время. Нельзя ли обсудить этот вопрос? Разрешите еще раз спросить вас – в какие дни и часы допускается посещение монастыря? Не позволите ли вы посетить вас в следующую субботу, шестого июля, между тремя и пятью часами дня, в зависимости от расписания поездов из Монреаля

в Торонто? С огромным нетерпением буду ждать ответа. С глубоким уважением и восхищением
Искренне ваш (подпись) Жан де Домье-Смит, штатный преподаватель курсов «Любители великих мастеров».

Постскриптум. В предыдущем письме я мимоходом спросил, не является ли молодая особа в голубой одежде, на переднем плане, Марией Магдаленой, великой грешницей? Если вы еще не написали мне, пожалуйста, воздержитесь от ответа на этот вопрос. Возможно, что я ошибся, но в нынешнем периоде моей жизни мне не хотелось бы испытать еще одно разочарование. Предпочитаю оставаться в неизвестности".

Даже в эту минуту, через столько лет, я испытываю неловкость, вспоминая, что, уезжая на курсы «Любители великих мастеров», я захватил с собой смокинг. Но я его привез, и, окончив письмо сестре Ирме, я его надел. Все вело к тому, чтобы как следует напиться, а так как я еще никогда в жизни не напивался (из страха, что от пьянства задрожит *та* рука, что писала *те* картины, что завоевали *те* три первых приза, и так далее), то сейчас, в столь трагической ситуации, я считал нужным надеть парадный костюм.

Пока супруги Йошото сидели на кухне, я прокрался вниз к телефону и позвонил в отель «Виндзор» – перед отъездом из Нью-Йорка мне его рекомендовала приятельница Бобби, миссис Икс. Я заказал к восьми вечера столик на одну персону.

Около половины восьмого, одетый и причесанный, я высунул голову из комнаты – не подкарауливает ли меня чета Йошото? Сам не знаю почему, мне не хотелось, чтобы они увидели меня в смокинге. Но там никого не было, и я быстро вышел на улицу и стал искать такси. Письмо к сестре Ирме уже лежало у меня во внутреннем кармане. Я собирался перечитать его за обедом, желательно при свечах.

Я шел квартал за кварталом, не встречая не только свободной машины, но и вообще ни одного такси. Я шел словно сквозь строй. Верденская окраина Монреаля далеко не светский район, и я был убежден, что каждый прохожий оборачивался мне вслед и провожал меня глубоко неодобрительным взглядом. Дойдя наконец до того бара, где я в понедельник сожрал четыре кони-айлендские «с пылу, с жару» колбаски, я решил плюнуть на заказ в отеле «Виндзор». Я зашел в бар, уселся в дальнем углу и, прикрывая левой рукой черный галстук, заказал суп, рулет и черный кофе. Я надеялся, что остальные посетители примут меня за официанта, спешащего на работу.

За второй чашкой кофе я вынул неотосланное письмо к сестре Ирме и перечитал его. В основном оно показалось мне неубедительным, и я решил поскорее вернуться домой и немного подправить его. Думал я и о своем плане – посетить сестру Ирму, даже решил было, что не худо бы взять билет сегодня же вечером. С этими мыслями, от которых, по правде сказать, мне ничуть не стало легче, я покинул бар и быстрым шагом пошел домой.

А через пятнадцать минут со мной случилась совершенно невероятная вещь. Знаю, что по всем признакам мой рассказ неприятно похож на чистейшую выдумку, но это чистая правда. И хотя речь идет о странном переживании, которое для меня так и осталось совершенно необъяснимым, однако хотелось бы, если удастся, изложить этот случай без всякого, даже самого малейшего оттенка мистицизма. Иначе, как мне кажется, это все равно, что думать или утверждать, будто между духовным откровением святого Франциска Ассизского и религиозными восторгами ханжи-истерички, припадающей лишь по воскресеньям к язвам прокаженного, разница чисто количественная.

Было девять часов, и уже стемнело, когда я, подходя к дому, заметил свет в окне ортопедической мастерской. Я испугался, увидев в витрине живого человека – плотную особу лет за тридцать, в зелено-желто-палевом шифоновом платье, которая меняла бандаж на деревянном манекене. Когда я подошел к витрине, она, как видно, только что сняла старый бандаж – он торчал у нее под мышкой. Повернувшись ко мне в профиль, она одной рукой зашнуровывала новый бандаж на манекене. Я стоял, не спуская с нее глаз, как вдруг она почувствовала, что на нее смотрят, и увидела меня. Я торопливо улыбнулся, давая понять, что не враг стоит тут за стеклом в смокинге и смотрит на нее из темноты, но ничего хорошего не вышло. Девушка испугалась

сверх всякой меры. Она залилась краской, уронила снятый бандаж, споткнулась о грудку эмалированных кружек и упала во весь рост. Я протянул к ней руки, больно стукнувшись пальцами о стекло. Она тяжело рухнула на спину – как падают конькобежцы, но тут же вскочила, не глядя на меня. Вся раскрасневшаяся, она ладонью откинула волосы с лица и снова стала зашнуровывать бандаж на манекене. И вот тут-то оно и случилось. Внезапно (я стараюсь рассказать это без всякого преувеличения) вспыхнуло гигантское солнце и полетело прямо мне в переносицу со скоростью девяноста трех миллионов миль в секунду. Ослепленный, страшно перепуганный, я уперся в стекло витрины, чтобы не упасть. Вспышка длилась несколько секунд. Когда ослепление прошло, девушки уже не было, и в витрине на благо человечеству расстился только изысканный, сверкающий эмалью цветник санитарных принадлежностей.

Я попятился от витрины и два раза обошел квартал, пока не перестали подкашиваться колени. Потом, не осмелившись заглянуть в витрину, я поднялся к себе в комнату и бросился на кровать. Через какое-то время (не знаю, минуты прошли или часы) я записал в дневник следующие строки: «Отпускаю сестру Ирму на свободу – пусть идет своим путем. Все мы монахини».

Прежде чем лечь спать, я написал письма всем четырем недавно исключенным мною слушателям. Я написал, что администрацией допущена ошибка. Письма шли как по маслу, сами собой. Может быть, это зависело от того, что, прежде чем взяться за них, я принес снизу стул.

Хотя развязка получается очень неинтересная, придется упомянуть, что не прошло и недели, как курсы «Любители великих мастеров» закрылись, так как у них не было соответствующего разрешения (вернее, никакого разрешения вообще). Я сложил вещи и уехал к Бобби, моему отчиму, на Род-Айленд, где провел около двух месяцев – все время до начала занятий в Нью-Йоркской художественной школе – за изучением самой интересной разновидности всех летних зверушек – американской девчонки в шортах.

Хорошо ли, плохо ли, но я больше никогда не пытался встретиться с сестрой Ирмой.

Однако я изредка получаю весточки от Бэмби Кремер. Вот последняя новость – она занялась рисованием поздравительных открыток. Наверно, тут будет чем полюбоваться, если только ее таланты не заглохли.

Тедди

Перевод: С.Таск

– Ты, брат, схлопочешь у меня волшебный день. А ну слезай сию минуту с саквояжа, – отозвался мистер Макардль. – Я ведь не шучу.

Он лежал на дальней от иллюминатора койке, возле прохода. Не то охнув, не то вздохнув, он с остервенением лягнул простыню, как будто прикосновение даже самой легкой материи к обожженной солнцем коже было ему невмоготу. Он лежал на спине, в одних пижамных штанах, с зажженной сигаретой в правой руке. Головой он упирался в стык между матрасом и спинкой, словно находя в этой нарочито неудобной позе особое наслаждение. Подушка и пепельница валялись на полу, в проходе, между его постелью и постелью миссис Макардль. Не поднимаясь, он протянул воспаленную правую руку и не глядя стряхнул пепел в направлении ночного столика.

– И это октябрь, – сказал он в сердцах. – Что тут у них тогда в августе творится!

Он опять повернул голову к Тедди, и взгляд его не предвещал ничего хорошего.

– Ну, вот что, – сказал он. – Долго я буду надрываться? Сейчас же слезай, слышишь!

Тедди взгромоздился на новехонький саквояж из воловьей кожи, чтобы было удобнее смотреть из раскрытого иллюминатора родительской каюты. На нем были немыслимо грязные белые полукеды на босу ногу, полосатые, слишком длинные шорты, которые к тому же отвисали сзади, застиранная тенниска с дыркой размером с десятицентовую монетку на правом плече и неожиданно элегантный ремень из черной крокодиловой кожи. Оброс он так – особенно сзади, – как может обрасти только мальчишка, у которого не по возрасту большая голова держится на

тоненькой шее.

– Тедди, ты меня слышишь?

Не так уж сильно высунулся Тедди из иллюминатора, не то что мальчишки его возраста, готовые, того и гляди, вывалиться откуда-нибудь, – нет, он стоял обеими ногами на саквояже, правда, не очень устойчиво, и голова его была вся снаружи. Однако, как ни странно, он прекрасно слышал отцовский голос. Мистер Макардль был на главных ролях по меньшей мере в трех радиопрограммах Нью-Йорка, и среди дня можно было услышать его голос, голос третьеразрядного премьера – глубокий и полновзвучный, словно любующийся собой со стороны, готовый в любой момент перекрыть все прочие голоса, будь то мужские или даже детский. Когда голос его отдыхал от профессиональной нагрузки, он с удовольствием падал до бархатных низов и вибрировал, негромкий, но хорошо поставленный, с чисто театральной звучностью. Однако сейчас было самое время включить полную громкость.

– Тедди! Ты слышишь меня, черт возьми?

Не меня своей сторожевой стойки на саквояже, Тедди полуобернулся и вопросительно взглянул на отца светло-кариими, удивительно чистыми глазами. Они вовсе не были огромными и слегка косили, особенно левый. Не то чтобы это казалось изъяном или было слишком заметно. Упомянуть об этом можно разве что вскользь, да и то лишь потому, что, глядя на них, вы бы всерьез и надолго задумались: а лучше ли было бы, в самом деле, будь они у него, скажем, без косинки, или глубже посажены, или темнее, или расставлены пошире. Как бы там ни было, в его лице сквозила неподдельная красота, но не столь очевидная, чтобы это бросалось в глаза.

– Немедленно, слышишь, немедленно слезь с саквояжа, – сказал мистер Макардль. – Долго мне еще повторять?

– И не думай слезать, радость моя, – подала голос миссис Макардль, у которой по утрам слегка закладывало нос. Веки у нее приоткрылись. – Пальцем не пошевели.

Она лежала на правом боку, спиной к мужу, и голова ее, покоившаяся на подушке, была обращена в сторону иллюминатора и стоявшего перед ним Тедди. Верхнюю простыню она обернула вокруг тела, по всей вероятности, обнаженного, укутавшись вся, с руками, до самого подбородка.

– Попрыгай, попрыгай, – добавила она, закрывая глаза. – Раздави папочкин саквояж.

– Оч-чень оригинально, – сказал мистер Макардль ровным и спокойным тоном, глядя жене в затылок. – Между прочим, он мне стоил двадцать два фунта. Я ведь прошу его как человека сойти, а ты ему – попрыгай, попрыгай. Это что? Шутка?

– Если он лопнет под десятилетним мальчиком, а он еще весит на тринадцать фунтов меньше положенного, можешь выкинуть этот мешок из моей каюты, – сказала миссис Макардль, не открывая глаз.

– Моя бы воля, – сказал мистер Макардль, – я бы проломил тебе голову.

– За чем же дело стало?

Мистер Макардль резко поднялся на одном локте и раздавил окурочек о стеклянную поверхность ночного столика.

– Не сегодня-завтра... – начал он было мрачно.

– Не сегодня-завтра у тебя случится роковой, да, роковой инфаркт, – томно сказала миссис Макардль. Она еще сильнее, с руками, закуталась в простыню. – Хоронить тебя будут очень скромно, но со вкусом, и все будут спрашивать, кто эта очаровательная женщина в красном платье, вон та, в первом ряду, которая кокетничает с органистом, и вся она такая...

– Ах, как остроумно. Только не смешно, – сказал мистер Макардль, опять без сил откидываясь на спину.

Пока шел этот короткий обмен любезностями, Тедди отвернулся и снова высунулся в иллюминатор.

– Сегодня ночью, в три тридцать две, мы встретили «Куин Мери», она шла встречным курсом. Если это кого интересует, – сказал он неторопливо. – В чем я сильно сомневаюсь.

В его завораживающем голосе звучали хриповатые нотки, как это бывает у мальчиков его

возраста. Каждая фраза казалась первозданным островком в крошечном море виски.

– Так было написано на грифельной доске у вахтенного, того самого, которого презирает наша Пуппи.

– Ты, брат, схлопочешь у меня «Куин Мери»... Сию же минуту слезь с саквояжа, – сказал отец. Он повернулся к Тедди. – А ну, слезай! Сходил бы лучше постригся, что ли.

Он опять посмотрел жене в затылок.

– Черт знает что, переросток какой-то.

– У меня денег нету, – возразил Тедди. Он покрепче взялся за край иллюминатора и положил подбородок на пальцы. – Мама, помнишь человека, который ест за соседним столом. Не тот, худющий, а другой, за тем же столиком. Там, где наш официант ставит поднос.

– Мм-мм, – отозвалась миссис Макардль. – Тедди. Солнышко. Дай маме поспать хоть пять минут. Будь пайнкой.

– Погоди. Это интересно, – сказал Тедди, не поднимая подбородка и не сводя глаз с океана. – Он был в гимнастическом зале, когда Свен меня взвешивал. Он подошел ко мне и заговорил. Оказывается, он слышал мою последнюю запись. Не апрельскую. Майскую. Перед самым отъездом в Европу он был на одном вечере в Бостоне, и кто-то из гостей знал кого-то – он мне не сказал, кого – из лейдеккеровской группы, которая меня тестировала, – так вот, они достали мою последнюю запись и прокрутили ее на этом вечере. А тот человек сразу заинтересовался. Он друг профессора Бабкока. Видно, он и сам преподает. Он сказал, что провел все лето в Дублине, в Тринити колледж.

– Вот как? – сказала миссис Макардль. – Они крутили ее на вечере?

Она полусонно смотрела на ноги Тедди.

– Как будто так, – ответил Тедди. – Я стою на весах, а он Свену рассказывает про меня. Было довольно неловко.

– А что тут неловкого?

Тедди помедлил.

– Я сказал *довольно* неловко. Я уточнил свое ощущение.

– Я, брат, тебя сейчас *так* уточню, если ты к чертовой матери не слезешь с саквояжа, – сказал мистер Макардль. Он только что прикурил новую сигарету. – Считаю до трех. *Раз...* черт подери... *Два...*

– Который час? – спросила вдруг миссис Макардль, глядя на ноги Тедди. – Разве вам с Пуппи не идти на плавание в десять тридцать?

– Успеем, – сказал Тедди. – *Шлеп.*

Неожиданно он весь высунулся в иллюминатор, а потом обернулся в каюту и доложил:

– Кто-то сейчас выбросил целое ведро апельсиновых очистков из окошка.

– Из окошка... Из *окошка*, – ядовито протянул мистер Макардль, стряхивая пепел. – Из иллюминатора, братец, из иллюминатора.

Он взглянул на жену.

– Позвони в Бостон. Скорей свяжись с лейдеккеровской группой.

– Подумать только, какие мы остроумные, – сказала миссис Макардль. – Чего ты стараешься?

Тедди опять высунулся.

– Красиво плывут, – сказал он не оборачиваясь. – Интересно...

– Тедди! Последний раз тебе говорю, а там...

– Интересно не то, что они плывут, – продолжал Тедди. – Интересно, что я вообще знаю об их существовании. Если б я их не видел, то не знал бы, что они тут, а если б не знал, то даже не мог бы сказать, что они существуют. Вот вам удачный, я бы даже сказал, блестящий пример того, как...

– Тедди, – прервала его рассуждения миссис Макардль, даже не шевельнувшись под простыней. – Иди поищи Пуппи. Где она? Нельзя, чтобы после вчерашнего перегрева она опять жарилась на солнце.

– Она надежно защищена. Я заставил ее надеть комбинезон, – сказал Тедди. – А они уже

начали тонуть... Скоро они будут плавать только в моем сознании. Интересно – ведь если разобраться, именно в моем сознании они и начали плавать. Если бы, скажем, я здесь не стоял или если бы кто-нибудь сейчас зашел сюда и взял бы да и снес мне голову, пока я...

– Где же Пупсик? – спросила миссис Макардль. – Тедди, посмотри на маму.

Тедди повернулся и посмотрел на мать.

– Что? – спросил он.

– Где Пупсик? Не хватало, чтобы она опять вертелась между шезлонгов и всем мешала. Вдруг этот ужасный человек...

– Не волнуйся. Я дал ей фотокамеру.

Мистер Макардль так и подскочил.

– Ты дал ей *камеру*! – воскликнул он. – Совсем спятил? Мою «лейку», черт подери! Не позволю я шестилетней девчонке разгуливать по всему...

– Я показал ей, как держать камеру, чтобы не уронить, – сказал Тедди. – И пленку я конечно вынул.

– Тедди! Чтобы камера была здесь. Слышишь? Сию же минуту слезь с саквояжа, и чтобы через пять минут камера лежала в каюте. Не то на свете станет одним вундеркиндом меньше. Ты понял?

Тедди медленно повернулся и сошел с саквояжа. Потом он нагнулся и начал завязывать шнурок на левом полукеде – отец, опершись на локоть, безотрывно следил за ним, точно монитор.

– Передай Пуппи, что я ее жду, – сказала миссис Макардль. – И поцелуй маму.

Завязав наконец шнурок, Тедди мимоходом чмокнул мать в щеку. Она стала вытаскивать из-под простыни левую руку, как будто хотела обнять Тедди, но, пока она тянулась, он уже отошел. Он обошел ее постель и остановился в проходе между койками. Нагнулся и выпрямился с отцовской подушкой под левой рукой и со стеклянной пепельницей с ночного столика в правой руке. Переложив пепельницу в левую руку, он подошел к столику и ребром правой ладони смел с него в пепельницу окурки и пепел. Перед тем как поставить пепельницу на место, он протер локтем ночной столик, очистив стеклянную поверхность от тонкого пепельного налета. Руку он вытер о свои полосатые шорты. Потом он установил пепельницу на чистое стекло, причем с такой тщательностью, словно был уверен в том, что она должна стоять либо в самом центре, либо вовсе не стоять. Тут отец, неотрывно следивший за ним, вдруг отвел взгляд.

– Тебе что, не нужна подушка? – спросил Тедди.

– Мне нужна камера, мой милый.

– Тебе, наверное, неудобно так лежать. Конечно, неудобно, – сказал Тедди. – Я оставлю ее тут.

Он положил подушку в ногах, подальше от отца. И пошел к выходу.

– Тедди, – сказала мать не поворачиваясь. – Скажи Пуппи, пусть зайдет ко мне перед уроком плавания.

– Оставь ты ребенка в покое, – сказал мистер Макардль. – Ни одной минуты не даешь ей толком порезвиться. Сказать тебе, как ты с ней обращаешься? Сказать? Ты обращаешься с ней, как с отпетой бандиткой.

– *Отпетой*. Какая прелесть! Ты становишься таким британцем, дорогой.

Тедди задержался у выхода, чтобы покрутить в раздумье дверную ручку туда-сюда.

– Когда я выйду за дверь, – сказал он, – я останусь жить лишь в сознании всех моих знакомых. Как те апельсиновые корочки.

– Что, солнышко? – переспросила миссис Макардль из дальнего конца каюты, продолжая лежать на правом боку.

– Пошевеливайся, приятель. Неси сюда «лейку».

– Поцелуй мамочку. Крепко-крепко.

– Только не сейчас, – отозвался Тедди рассеянно. – Я устал.

И он закрыл за собой дверь.

Под дверью лежал очередной выпуск корабельной газеты, выходившей ежедневно. Вся она состояла из листка глянцевиной бумаги с текстом на одной стороне. Тедди подобрал газету и начал читать, медленно идя по длинному переходу в сторону кормы. Навстречу ему шла рослая блондинка в белой накрахмаленной форме, неся вазу с красными розами на длинных стеблях. Поравнявшись с Тедди, она потрепала его левой рукой по макушке.

– Кое-кому пора стричься! – сказала она.

Тедди равнодушно поднял на нее глаза, но она уже прошла, и он не обернулся. Он продолжал читать. Дойдя до конца перехода, где открывалась площадка, а над ней стенная роспись – святой Георгий с драконом, он сложил газету вчетверо и сунул ее в левый задний карман. Он стал подниматься по широким ступенькам трапа, устланном ковровой дорожкой, на главную палубу, которая находилась пролетом выше. Шагнул он сразу через две ступеньки, но неторопливо, держась при этом за поручень и подаваясь вперед всем телом, так, словно сам процесс подъема по трапу доставлял ему, как и многим детям, определенное удовольствие. Оказавшись на главной палубе, он направился напрямик к конторке помощника капитана по материальной части, где в данный момент восседала хорошенькая девушка в морской форме. Она прошивала скрепками отпечатанные на ротаторе листки бумаги.

– Прошу прощения, вы не скажете, во сколько сегодня начинается игра? – спросил Тедди.

– Что-что?

– Вы не скажете, во сколько сегодня начинается игра?

Накрашенные губы девушки раздвинулись в улыбке.

– Какая игра, малыш?

– Ну как же. В слова. В нее играли вчера и позавчера. Там нужно вставлять пропущенные слова по контексту.

Девушка, начав скреплять три листка, остановилась.

– Вот как? – сказала она. – Я думаю, днем или позже. Думаю, около четырех. А тебе, дружок, не рановато играть в такие игры?

– Не рановато... Благодарю вас, – сказал Тедди и повернулся, чтобы идти.

– Постой-ка, малыш. Тебя как зовут?

– Теодор Макардль, – ответил Тедди. – А вас как?

– Меня? – улыбнулась девушка. – Меня зовут мичман Мэттьюсон.

Тедди посмотрел, как она прошивает листки.

– Я вижу, что вы мичман. Не знаю, возможно, я ошибаюсь, но мне всегда казалось, что, когда человека спрашивают, как его зовут, то полагается называть имя полностью. Например, Джейн Мэттьюсон, или Феллис Мэттьюсон, или еще как-нибудь.

– Да что ты!

– Повторяю, мне так *казалось*, – продолжал Тедди. – Возможно, я и ошибался. Возможно, что на тех, кто носит форму, это не распространяется. В общем, благодарю вас за информацию. До свидания.

Он повернулся и начал подниматься на прогулочную палубу, и вновь он шагнул через две ступеньки, но теперь уже быстрее.

После настоячивых поисков он обнаружил Пуппи на самом верху, где была спортивная площадка, на освещенном солнцем пятачке – этаким прогалинке – между пустовавшими теннисными кортами. Она сидела на корточках, сзади на нее падали лучи солнца, легкий ветерок трепал ее светлые шелковистые волосы. Она сидела, деловито складывая две наклонные пирамидки из двенадцати, не то четырнадцати кружков от шафлборда¹⁸, одну пирамиду из черных кружков, другую из красных. Справа от нее стоял совсем еще кроха в легком полотняном костюмчике – этаким сторонний наблюдатель.

– Смотри! – скомандовала Пуппи брату, когда он подошел.

Она наклонилась над своим сооружением и загородила его обеими руками, как бы пригла-

¹⁸ Шафлборд — американская игра, в которой разноцветные кружки передвигаются по специально размеченной доске.

шая всех полюбоваться на это произведение искусства, как бы отделяя его от всего, что существовало на корабле.

– Майрон! – сказала она малышу сердито. – Ты все затемняешь моему брату. Не стой как пень!

Она закрыла глаза и с мучительной гримасой ждала, пока Майрон не отодвинется. Тедди постоял над пирамидами и одобрительно кивнул головой.

– Неплохо, – похвалил он. – И так симметрично.

– *Этот тип*, – сказала Пуппи, ткнув пальцем в Майрона, – не слышал, что такое триктрак. У них и триктрака-то нет!

Тедди окинул Майрона оценивающим взглядом.

– Слушай, – обратился он к Пуппи, – где камера? Ее надо сейчас же вернуть папе.

– Он и живет-то не в Нью-Йорке, – сообщила Пуппи брату. – И отец у него умер. Убили в Корее.

Она взглянула на Майрона.

– Верно? – спросила она его и, не дожидаясь ответа: – Если теперь у него и мать умрет, он будет круглым сиротой. А он и этого не знал.

Пуппи посмотрела на Майрона.

– Не знал ведь?

Майрон скрестил руки и ничего не ответил.

– Я такого дурака еще не видела, сказала Пуппи. – Ты самый большой дурак на всем этом океане. Ты понял?

– Он не дурак, – сказал Тедди. – Ты не дурак, Майрон.

Тут он обратился к сестре:

– Слышишь, что я тебе говорю? Куда ты дела камеру? Она мне срочно нужна. Где она?

– Там, – ответила Пуппи, не показывая, где именно.

Она придвинула к себе обе пирамидки.

– Теперь мне надо двух великанов, – сказала она. – Они бы играли в триктрак этими деревяшками, а потом им бы надоело, и они забрались бы на эту дымовую трубу, и швыряли деревянные во всех подряд, и всех бы убили.

Она взглянула на Майрона.

– И твоих родителей, наверное, убили бы, – сказала она со знанием дела. – А если б великаны не помогли, тогда знаешь что? Тогда насыпь яду на мармеладины и дай им съесть.

«Лейка» обнаружилась футом в десяти, за белой загородкой, окружавшей спортплощадку. Она лежала на боку, в водосточной канавке. Тедди подошел к ней, поднял ее за ляжки и повесил на шею. Но тут же снял. И понес к сестре.

– Слушай, Пупс, будь другом. Отнеси ее вниз, пожалуйста, – попросил он. – Уже десять часов, а мне надо записать кое-что в дневник.

– Мне некогда.

– И мама тебя зовет, – сказал Тедди.

– Врешь ты все.

– Ничего не вру. Звала, – сказал Тедди. – Так что ты уж захвати ее с собой... Давай, Пупс.

– Зачем она хочет меня видеть? – спросила Пуппи. – Я вот ее видеть не хочу.

Вдруг она шлепнула по руке Майрона, который потянулся было к верхнему кружочку из красной пирамиды.

– Руки! – сказала она.

– Все шутки в сторону, – сказал Тедди, вешая ей на шею «лейку». – Сейчас же отнеси ее папе. Встретимся возле бассейна. Я буду ждать тебя там в десять тридцать. Или лучше возле кабинки, где ты переодеваешься. Смотри не опоздай. И не забудь, это в самом низу, на палубе Е, так что выйди заранее.

Он повернулся и пошел. А вдогонку ему неслось:

– Ненавижу тебя! Всех ненавижу на этом океане!

Пониже спортивной площадки, на широкой платформе – она служила продолжением палубы, отведенной под солярий и открытой со всех сторон, – было расставлено семьдесят с лишним шезлонгов; они стояли в семь-восемь рядов с таким расчетом, чтобы стюард мог свободно лавировать между рядами, не спотыкаясь о вещи загорающих на солнце пассажиров, об их мешочки с вязанием, романы в бумажных обложках, флаконы с жидкостью для загара, фотоаппараты. К приходу Тедди почти все места уже были заняты. Тедди начал с последнего ряда и методично, не пропуская ни одного шезлонга, независимо от того, сидели в нем или нет, переходил от ряда к ряду, читая фамилии на подлокотниках. Один или два раза к нему обратились – другими словами, отпустили шуточки, которые иногда отпускают взрослые при виде десятилетнего мальчика, настойчиво ищущего свое место. Сразу было видно, как он сосредоточен и юн, и все же в его поведении, пожалуй, отсутствовала та забавная важность, которая обычно настраивает взрослых на серьезный либо снисходительный лад. Возможно, дело было еще и в одежде. Дырку на его плече никто бы не назвал «забавной» дырочкой. И в том, как сзади отвисали на нем шорты, слишком длинные для него, тоже не было ничего «забавного».

Четыре шезлонга Макардлей, с уже приготовленными подушками для удобства владельцев, обнаружили в середине второго ряда. Намеренно или нет, Тедди уселся таким образом, чтобы места справа и слева от него пустовали. Он вытянул голые, еще не загорелые ноги, положил их на перекладину, сдвинув пятки, и почти сразу же вытащил из правого заднего кармана небольшой десятицентовый блокнот. Мгновенно сосредоточившись, словно вокруг не существовало ни солнца, ни пассажиров, ни корабля, ничего, кроме блокнота, он начал переворачивать страницы.

Кроме нескольких карандашных пометок, все записи в блокноте были сделаны шариковой ручкой. Почерк был размашистый, какому сейчас обучают в американских школах, а не тот, каллиграфический, который прививали по старой, палмеровской, методе. Он был разборчивый, без всяких красотостей. Что в нем удивляло, так это беглость. По тому, как строились слова и фразы, – хотя бы по одному внешнему признаку, – трудно было предположить, что все это написано ребенком.

Тедди довольно долго изучал свою, по всей видимости, последнюю запись. Занимала она чуть больше трех страниц:

Запись от 27 октября 1952 г.

Владелец – Теодор Макардль.

Каюта 412, палуба А.

За находку и возвращение дневника будет выдано соответствующее, и вполне приличное, вознаграждение.

Не забыть найти папины армейские бирки и носить их как можно чаще. Для тебя это пустяк, а ему приятно.

Постараться ответить при случае на письмо профессора Манделя. Попросить профессора, чтобы он больше не присылал книжки стихов. У меня и так уже запас на целый год. И вообще они мне надоели.

Идет человек по пляжу, и вдруг, к несчастью, ему на голову падает кокосовый орех. И голова его, к несчастью, раскалывается пополам. А тут его жена идет, напевая, по бережку, и видит две половинки, и узнает их, и поднимает. Жена, конечно, расстраивается и начинает душераздирающе рыдать... Дальше я эти стихи читать не могу. Лучше взяла бы в руки обе половинки и прикрикнула бы на них, сердито так: «Хватит безобразничать!»

Конечно, профессору советовать такое не стоит. Вопрос сам по себе спорный, и к тому же миссис Мандель – поэт.

Узнать адрес Свена в Элизабет, штат Нью-Джерси. Интересно будет познакомиться с его женой, а также с его собакой Линди. Однако сам я заводить собаку не стал бы.

Написать доктору Уокаваре. Выразить соболезнования по поводу его нефрита. Спросить его новый адрес у мамы.

Завтра утром, до завтрака, заняться медитацией на спортплощадке, но только не терять сознания. А главное, не терять сознания за обедом, если этот официант опять уронит разливательную ложку. В тот раз папа ужасно сердился.

Вернуть в библиотеку книги и посмотреть слова и выражения:
нефрит
мириада
дареный конь
лукавый
триумвират

Быть учтивее с библиотекарем. Если он начнет сюсюкать, переведи разговор на общие темы.

Тедди вдруг вытащил из бокового кармана шорт маленькую шариковую ручку в виде гильзы, снял колпачок и начал писать. Блокнот он положил на правое колено, а не на подлокотник.

Запись от 28 октября 1952 г.
Адрес и вознаграждение те же, что указаны от 26 и 27 октября.

Сегодня, после утренней медитации, написал следующим лицам:
д-ру Уокаваре
проф. Манделю
проф. Питу
Берджесу Хейку-младшему
Роберте Хейк
Сэнфорду Хейку
бабушке Хейк
м-ру Грэму
проф. Уолтону

Можно было бы спросить маму, где папины бирки, но она скорее всего скажет, что они мне ни к чему. А я знаю, что он взял их с собой, сам видел, как он их укладывал.

По-моему, жизнь – это дареный конь.

Мне кажется, со стороны профессора Уолтона довольно бестактно критиковать моих родителей. Ему надо, чтоб все люди были такими, как *он* хочет.

Это произойдет либо сегодня, либо 14 февраля 1958 года, когда мне исполнится шестнадцать. Но об этом даже говорить нелепо.

Написав последнюю фразу, Тедди не сразу поднял глаза от страницы и держал шариковую ручку так, словно хотел написать что-то еще.

Он явно не замечал, что какой-то человек с интересом за ним наблюдает. А между тем сверху, в восемнадцати-двадцати футах от него и футах в пятнадцати от первого ряда шезлонгов, у перил спортивной площадки стоял молодой человек в слепящих лучах солнца и пристально смотрел на него. Он стоял так уже минут десять. Видно было, что молодой человек наконец на

что-то решился, потому что он вдруг снял ногу с перекладины. Постоял, посмотрел на Тедди и ушел. Однако через минуту он появился среди шезлонгов, загораясь собой солнцем. На вид ему было лет тридцать или чуть меньше. Он сразу же направился к Тедди, шагая как ни в чем не бывало (хотя кроме него здесь никто не разгуливал и не стоял) через мешочки с вязанием и все такое и отвлекая пассажиров, когда его тень падала на страницы книг.

Тедди же как будто не видел, что кто-то стоит перед ним и отбрасывает тень на дневник. Но некоторых пассажиров, сидевших сзади, отвлечь оказалось куда легче. Они смотрели на молодого человека так, как могут смотреть на возникшую перед ними фигуру, пожалуй, только люди в шезлонгах. Но молодой человек был, очевидно, наделен завидным самообладанием, и поколебать его, казалось, не так-то просто, во всяком случае при условии, что он будет идти, засунув руку в карман.

– Мое почтение! – сказал он Тедди.

Тедди поднял голову.

– Здравствуйте.

Он стал закрывать блокнот, и тот сам собой захлопнулся.

– Позвольте присесть. – Молодой человек произнес это с нескрываемым дружелюбием. – Здесь не занято?

– Вообще-то эти четыре шезлонга принадлежат нашей семье, – сказал Тедди. – Только мои родители еще не встали.

– *Не встали?* В такое утро?! – удивился молодой человек.

Он уже опустился в шезлонг справа от Тедди. Шезлонги стояли так тесно, что подлокотники соприкасались.

– Но ведь это святотатство! – сказал он. – Сущее святотатство!

У него были поразительно мощные ляжки и, когда он вытянул ноги, можно было подумать, что это два отдельных туловища. Одет он был – от стриженной макушки до стоптанных башмаков – почти с классической разностильностью, как одеваются в Новой Англии, отправляясь в круиз: на нем были темно-серые брюки, желтоватые шерстяные носки, рубашка с открытым воротом и твидовый пиджак «в елочку», который приобрел свою благородную потертость не иначе как на престижных семинарах в Йеле, Гарварде или Принстоне.

– Боже правый, какой райский денек, – сказал он с чувством, жмурясь на солнце. – Я просто пасую перед игрой природы.

Он скрестил свои толстые ноги.

– Вы не поверите, но я, бывало, принимал самый обыкновенный дождливый день за личное оскорбление. А такая погода – это для меня просто манна небесная.

Хотя его манера выражаться выдавала в нем человека образованного, в общепринятом смысле этого слова, было в ней и нечто такое, что должно было, как он, видно, считал в душе, придать его словам особую значительность, ученость и даже оригинальность и увлекательность – в глазах как Тедди, к которому он сейчас обращался, так и тех, кто сидел за ними, если они слушали их разговор. Он искоса взглянул на Тедди и улыбнулся.

– А в каких *вы* взаимоотношениях с погодой? – спросил он.

Нельзя сказать, чтобы его улыбка не относилась к собеседнику, однако, при всей ее открытости, при всем дружелюбии, он как бы предназначал ее самому себе.

– А *вас* никогда не смущали загадочные атмосферные явления? – продолжал он с улыбкой.

– Не знаю, я не принимаю погоду так близко к сердцу, если вы это имели в виду, – сказал Тедди.

Молодой человек расхохотался, запрокинув голову.

– Прелестно, – восхитился он. – Кстати, меня зовут Боб Никольсон. Не помню, представился ли я вам тогда в гимнастическом зале. *Ваше* имя я, конечно, знаю.

Тедди слегка наклонился, чтобы засунуть блокнот в задний карман шорт.

– Я смотрел оттуда, как вы пишете, – сказал Никольсон, показывая наверх. – Клянусь Богом, в этой увлеченности было что-то от юного спартанца.

Тедди посмотрел на него.

– Я кое-что записывал в дневник.

Никольсон улыбнулся и понимающе кивнул.

– Как вам Европа? – спросил он непринужденно. – Понравилось?

– Да, очень, благодарю вас.

– Где побывало ваше семейство?

Неожиданно Тедди подался вперед и почесал ногу.

– Знаете, перечислять все города – это долгая история. Мы ведь были на машине, так что поездили прилично.

Он снова сел прямо.

– А дольше всего мы с мамой пробыли в Эдинбурге и Оксфорде. Я, кажется, говорил вам тогда в зале, что мне нужно было дать там интервью. В первую очередь в Эдинбургском университете.

– Нет, насколько мне помнится, вы ничего не говорили, – заметил Никольсон. – А я как раз думал, занимались ли вы там чем-нибудь в этом роде. Ну, и как все прошло? Помуржили вас?

– Простите? – сказал Тедди.

– Как все прошло? Интересно было?

– И да, и нет, – ответил Тедди. – Пожалуй, мы там немного засиделись. Папа хотел вернуться в Америку предыдущим рейсом. Но должны были подъехать люди из Стокгольма и из Инсбрука познакомиться со мной, и нам пришлось задержаться.

– Да, жизнь людская такова.

Впервые за все время Тедди пристально взглянул на него.

– Вы поэт? – спросил он.

– Поэт? – переспросил Никольсон. – Да нет. Увы, нет. Почему вы так решили?

– Не знаю. Поэты всегда принимают погоду слишком близко к сердцу. Они любят навязывать эмоции тому, что лишено всякой эмоциональности.

Никольсон, улыбаясь, полез в карман пиджака за сигаретами и спичками.

– Мне всегда казалось, что в этом-то как раз и состоит их ремесло, – возразил он. – Разве, в первую очередь, не с эмоциями имеет дело поэт?

Тедди явно не слышал его или не слушал. Он рассеянно смотрел то ли на дымовые трубы, похожие друг на друга, как два близнеца, то ли мимо них, на спортивную площадку.

Никольсон прикурил сигарету, но не сразу – с севера потянуло ветерком. Он поглубже уселся в шезлонге и сказал:

– Видать, здорово вы озадачили...

– Песня цикады не скажет, сколько ей жить осталось, – вдруг произнес Тедди. – Нет никого на дороге в этот осенний вечер.

– Это что такое? – улыбнулся Никольсон. – Ну-ка еще раз.

– Это два японских стихотворения. В них нет особых эмоций, – сказал Тедди.

Тут он сел прямо, склонил голову набок и похлопал ладошкой по правому уху.

– А у меня в ухе вода, – пояснил он, – после вчерашнего урока плавания.

Он еще слегка похлопал себя по уху, а затем откинулся на спинку и положил локти на ручки шезлонга. Шезлонг был, конечно, нормальных размеров, рассчитанный на взрослого человека, и Тедди в нем просто тонул, но вместе с тем он чувствовал себя в нем совершенно свободно, даже уютно.

– Видать, вы здорово озадачили этих снобов из Бостона, – сказал Никольсон, глядя на него. – После той маленькой стычки. С этими вашими лейдеккеровскими исследователями, насколько я смог понять. Помнится, я говорил вам, что у меня с Элом Бабкоком вышел долгий разговор в конце июня. Кстати сказать, в тот самый вечер, когда я прослушал вашу магнитофонную запись.

– Да. Вы мне говорили.

– Я так понял, они были здорово озадачены, – не отставал Никольсон. – Из слов Эла я понял, что в вашей тесной мужской кампании состоялся тогда поздно вечером небольшой похоронный разговорчик – в тот самый вечер, если я не ошибаюсь, когда вы записывались.

Он затаился.

– Насколько я понимаю, вы сделали кое-какие предсказания, которые весьма взволновали всю честную кампанию. Я не ошибся?

– Не понимаю, – сказал Тедди, – отчего считается, что надо непременно испытывать какие-то эмоции. Мои родители убеждены, что ты не человек, если не находишь вещи грустными, или очень неприятными, или очень... несправедливыми, что ли. Отец волнуется, даже когда читает газету. Он считает, что я бесчувственный.

Никольсон стряхнул в сторону пепел.

– Я так понимаю, сами вы не подвержены эмоциям? – спросил он.

Тедди задумался, прежде чем ответить.

– Если и подвержен, то, во всяком случае, не помню, чтобы я давал им выход, – сказал он. – Не вижу, какая от них польза.

– Но ведь вы любите Бога? – спросил Никольсон, понижая голос. Разве не в этом заключается ваша сила, так сказать? Судя по вашей записи и по тому, что я слышал от Эла Бабкока...

– Разумеется, я люблю Его. Но я люблю Его без всякой сентиментальности. Он ведь никогда не говорил, что надо любить сентиментально, – сказал Тедди. – Будь я Богом, ни за чтобы не захотел, чтобы меня любили сентиментальной любовью. Очень уж это ненадежно.

– А родителей своих вы любите?

– Да, конечно. Очень, – ответил Тедди. – Но, я чувствую, вы хотите, чтобы для меня это слово значило то же, что оно значит для вас.

– Допустим. Тогда скажите, что *вы* понимаете под этим словом?

Тедди задумался.

– Вы знаете, что такое «привязанность»? – обратился он к Никольсону.

– Имею некоторое представление, – сухо сказал тот.

– Я испытываю к ним сильную привязанность. Я хочу сказать, они ведь мои родители, значит, нас что-то объединяет, – говорил Тедди. – Мне бы хотелось, чтобы они весело прожили эту свою жизнь, потому что, я знаю, им самим этого хочется... А вот они любят меня и Пуппи, мою сестренку, совсем иначе. Я хочу сказать, они, мне кажется, как-то не могут любить нас такими, какие мы есть. Они не могут любить нас без того, чтобы хоть чуточку нас не переделывать. Они любят не нас самих, а те представления, которые лежат в основе любви к детям, и чем дальше, тем больше. А это все-таки не та любовь.

Он опять повернулся к Никольсону, подавшись вперед.

– Простите, вы не скажете, который час? – спросил он. – У меня в десять тридцать урок плавания.

– Успеете, – сказал Никольсон, не глядя на часы. Потом отдернул обшлаг. – Только десять минут одиннадцатого.

– Благодарю вас, – сказал Тедди и сел поудобнее. – Мы можем поболтать еще минут десять.

Никольсон спустил на пол одну ногу, наклонился и раздавил ногой окурок.

– Насколько я могу судить, – сказал он, опускаясь в шезлонг, – вы твердо придерживаетесь, в согласии с Ведами, теории перевоплощения.

– Да это не теория, это скорее...

– Хорошо, хорошо, – поспешил согласиться Никольсон. Он улыбнулся и слегка приподнял руки, ладонями вниз, словно шутливо благославляя Тедди. – Сейчас мы об этом спорить не будем. Дайте мне договорить.

Он снова скрестил свои толстые ноги.

– Насколько я понимаю, посредством медитаций вы получили некую информацию, которая убедила вас в том, что в своем последнем перевоплощении вы были индусом и жили в святости, но потом как будто сбились с Пути...

– Я не жил в святости, – поправил его Тедди. – Я был обычным человеком, просто неплохо развивался в духовном отношении.

– Ну ладно, пусть так, – сказал Никольсон. – Но сейчас вы якобы чувствуете, что в этом

своем последнем воплощении вы как бы сбились с Пути перед окончательным Просветлением. Это правильно, или я...

– Правильно, – сказал Тедди. – Я встретил девушку и как-то отошел от медитаций.

Он снял руки с подлокотников и засунул их под себя, словно желая согреть.

– Но мне все равно пришлось бы переселиться в другую телесную оболочку и вернуться на землю, даже если бы я не встретился с этой девушкой, – я хочу сказать, что я не достиг такого духовного совершенства, чтобы после смерти остаться с Брахманом и уже никогда не возвращаться на землю. Другое дело, что, не повстречай я эту девушку, и мне бы не надо было воплощаться в *американского* мальчика. Вы знаете, в Америке так трудно предаваться медитациям и жить духовной жизнью. Стоит только попробовать, как люди начинают считать тебя ненормальным. Например, папа видит во мне какого-то уроду. Ну а мама... ей кажется, что зря я думаю все время о Боге. Она считает, что это вредно для здоровья.

Никольсон внимательно посмотрел на него.

– В своей последней записи вы, насколько я помню, сказали, что вам было шесть лет, когда вы впервые пережили мистическое откровение. Верно?

– Мне было шесть лет, когда я вдруг понял, что все вокруг – это Бог, и тут у меня волосы стали дыбом, и все такое, – сказал Тедди. – Помню, это было воскресенье. Моя сестренка, тогда совсем еще маленькая, пила молоко, и вдруг я понял, что *она* – Бог, и *молоко* – Бог, и все, что она делала, это переливала одного Бога в другого, вы меня понимаете?

Никольсон молчал.

– А преодолевать конечномерность пространства я мог, еще когда мне было четыре года, – добавил Тедди. – Не все время, сами понимаете, но довольно часто.

Никольсон кивнул.

– Могли, значит? – повторил он. – Довольно часто?

– Да, – подтвердил Тедди. – Об этом есть на пленке... Или я рассказывал об этом в своей апрельской записи? Точно не помню.

Никольсон снова достал сигареты, не сводя глаз с Тедди.

– Как же можно преодолевать конечномерность вещей? – спросил он со смешком. – То есть, я что хочу сказать: к примеру, кусок дерева – это кусок дерева. У него есть длина, ширина...

– Нету. Тут вы ошибаетесь, – перебил его Тедди. – Людям только *кажется*, что вещи имеют границы. А их нет. Именно это я пытался объяснить профессору Питу.

Он поерзал в шезлонге, достал из кармана нечто отдаленно напоминавшее носовой платок – жалкий серый комочек – и высморкался.

– *Почему* людям кажется, что все имеет границы? Да просто потому, что большинство людей не умеет смотреть на вещи иначе, – объяснил он. – А сами вещи тут не при чем.

Он спрятал носовой платок и посмотрел на Никольсона.

– Подымите на минутку руку, – попросил он его.

– Руку? Зачем?

– Ну подымите. На секундочку.

Никольсон слегка приподнял руку над подлокотником.

– Эту? – спросил он.

Тедди кивнул.

– Что это, по-вашему? – спросил он.

– То есть как – что? Это моя рука. Это *рука*.

– Откуда вы знаете? – спросил Тедди. – Вы знаете, что она *называется* рука, но как вы можете знать, что это и есть рука? Вы можете доказать, что это рука?

Никольсон вытащил из пачки сигарету и закурил.

– По-моему, это пахнет самой что ни на есть отвратительной софистикой, да-да, – сказал он, пуская дым. – Помилуйте, это рука, потому что это рука. Она должна иметь название, чтобы ее не спутали с чем-то другим. Нельзя же взять да и...

– Вы пытаетесь рассуждать логически, – невозмутимо изрек Тедди.

– Как я пытаюсь рассуждать? – переспросил Никольсон, пожалуй, чересчур вежливо.

– Логически. Вы даете мне правильный осмысленный ответ, – сказал Тедди. – Я хотел помочь вам разобраться. Вы спросили, как мне удастся преодолевать конечность пространства. Уж конечно, не с помощью логики. От логики надо избавиться прежде всего.

Никольсон пальцем снял с языка табачную крошку.

– Вы Адама знаете? – спросил Тедди.

– Кого-кого?

– Адама. Из Библии.

Никольсон усмехнулся.

– Лично не знаю, – ответил он сухо.

Тедди помедлил.

– Да вы не сердитесь, – произнес он наконец. – Вы задали мне вопрос, и я...

– Бог мой, да не сержусь я на вас.

– Вот и хорошо, – сказал Тедди.

Сидя лицом к Никольсону, он поглубже устроился в шезлонге.

– Вы помните яблоко из Библии, которое Адам съел в раю? – спросил он. – А знаете, что было в том яблоке? Логика. Логика и всякое Познание. Больше там ничего не было. И вот что я вам скажу: главное – это чтобы человека стошнило тем яблоком, если, конечно, хочешь увидеть вещи, как они есть. Я хочу сказать, если оно выйдет из вас, вы сразу разберетесь с кусками дерева и всем прочим. Вам больше не будут мерещиться в каждой вещи ее границы. И вы, если захотите, поймете наконец, что такое ваша рука. Вы меня слушаете? Я говорю понятно?

– Да, – ответил Никольсон односложно.

– Вся беда в том, – сказал Тедди, – что большинство людей не хочет видеть все как оно есть. Они даже не хотят перестать без конца рождаться и умирать. Им лишь бы переходить все время из одного тела в другое, вместо того, чтобы прекратить это и остаться рядом с Богом – там, где действительно хорошо. – Он задумался. – Надо же, как все набрасываются на яблоки, – сказал он. И покачал головой.

В это время стюард, одетый во все белое, обходил отдыхающих; он остановился перед Тедди и Никольсоном и спросил, не желают ли они бульона на завтрак. Никольсон даже не ответил. Тедди сказал: «Нет, благодарю вас», – и стюард прошел дальше.

– Если не хотите, можете, конечно, не отвечать, – сказал Никольсон отрывисто и даже резковато. Он стряхнул пепел. – Правда или нет, что вы сообщили всей этой лейдеккеровской ученой братии – Уолтону, Питу, Ларсену, Сэмюэлсу и так далее, – где, когда и как они умрут? Правда это? Если хотите, можете не отвечать, но в Бостоне только и говорят о том, что...

– Нет, это неправда, – решительно возразил Тедди. – Я сказал, где и когда именно им следует быть как можно осмотрительнее. И еще я сказал, что бы им стоило *сделать*... Но ничего *такого* я не говорил. Не говорил я им, что во всем этом есть неизбежность.

Он опять достал носовой платок и высморкался. Никольсон ждал, глядя на него.

– А профессору Питу я вообще ничего такого не говорил. Он ведь был единственный, кто не дурачился и не засыпал меня вопросами. Я только одно сказал профессору Питу, чтобы с января он больше не преподавал, больше ничего.

Откинувшись в шезлонге, Тедди помолчал.

– Остальные же профессора чуть не силой вытянули из меня все это. Мы уже покончили с интервью и с записью, и было совсем поздно, а они все сидели, и дымили, и заигрывали со мной.

– Так вы не говорили Уолтону или там Ларсену, где, когда и как их настигнет смерть? – настаивал Никольсон.

– Нет! Не говорил, – твердо ответил Тедди. – Я бы им вообще ничего не сказал, если бы они сами об этом все время не заговаривали. Первым начал профессор Уолтон. Он сказал, что ему хотелось бы знать, когда он умрет, потому что тогда он решит, за какую работу ему братья, а за какую нет, и как получше использовать оставшееся время, и все в таком духе. И тут они все стали спрашивать... Ну, я им и сказал кое-что.

Никольсон промолчал.

– Но про то, кто когда умрет, я не говорил, – продолжал Тедди. – Это совершенно ложные слухи... Я *мог бы* сказать им, но я знал, что в глубине души им этого знать не хотелось. Хотя они преподают религию и философию, все равно, я знал, смерти они побаиваются.

Тедди помолчал, полулежа в шезлонге.

– Так глупо, – сказал он. – Ты ведь просто бросаешь свое тело ко всем шутам... И все. Ты-щу раз все это проделывали. А если кто забыл, так это еще не значит, что ничего не было. Так глупо.

– Допустим. Допустим, – сказал Никольсон. – Но факт остается фактом, как бы разумно не...

– Так глупо, – повторил Тедди. – Мне, например, через пять минут идти на плавание. Я спущусь к бассейну, а там, допустим, нет воды. Допустим, ее сегодня меняют. А дальше так: я подойду к краю, ну просто взглянуть, есть ли вода, а моя сестренка подкрадется сзади и подтолкнет меня. Голова пополам – мгновенная смерть.

Тедди взглянул на Никольсона.

– А почему бы и нет? – сказал он. – Моей сестренке всего шесть лет, и она меня недолюбливает. Так что все возможно. Но разве это такая уж трагедия? Я хочу сказать, чего так бояться? Произойдет только то, что мне предназначено, вот и все, разве нет?

Никольсон хмыкнул.

– Для вас это, может быть, и не трагедия, – сказал он, – но ваши мама с папой были бы наверняка весьма опечалены. Об этом вы подумали?

– Подумал, конечно, – ответил Тедди. – Но это оттого, что у них на все уже заготовлены названия и чувства.

До сих пор он держал руки под коленками. А тут он оперся на подлокотники и посмотрел на Никольсона.

– Вы ведь знаете Свена? Из гимнастического зала? – спросил Тедди. Он дождался, пока Никольсон утвердительно кивнул. – Так вот, если бы Свену приснилось сегодня, что его собака умерла, он бы очень-очень мучился во сне, потому что он ужасно любит свою собаку. А проснулся бы – и увидел, что все в порядке. И понял бы, что все это ему приснилось.

Никольсон кивнул.

– Что из этого следует?

– Из этого следует, что, если бы его собака и вправду умерла, было бы совершенно то же самое. Только он не понял бы этого. Он бы не проснулся, пока сам не умер, вот что я хочу сказать.

Никольсон, весь какой-то отрешенный, медленно и вдумчиво потирал правой рукой затылок. Его левая рука – с очередной незажженной сигаретой между пальцами – неподвижно лежала на подлокотнике и казалась странно белой и неживой под ярким солнечным светом.

Внезапно Тедди поднялся.

– Извините, но мне в самом деле пора, – сказал он.

Присев на подставку для ног, лицом к Никольсону, он заправил тенниску в шорты.

– У меня осталось, наверное, минуты полторы до бассейна, – сказал он. – А это в самом низу, на палубе Е.

– Могу я вас спросить, почему вы посоветовали профессору Питу оставить преподавание после Нового года? – не отставал Никольсон. – Я хорошо знаю Боба. Потому и спрашиваю.

Тедди затянул ремень из крокодиловой кожи.

– Потому что в нем сильно развито духовное начало, а эти лекции, которые он читает, только мешают настоящему духовному росту. Они выводят его из равновесия. Ему пора выбросить все из головы, а не забивать ее всякой всячиной. Стоит ему только захотеть, и он бы мог почти целиком вытравить из себя яблоко еще в *этой* жизни. Он очень преуспел в медитации.

Тедди встал.

– Правда, мне пора. Не хочется опаздывать.

Никольсон пристально посмотрел на него, как бы удерживая взглядом.

– Что бы вы изменили в нашей системе образования? – спросил он несколько туманно. – Не задумывались над этим?

– Мне правда пора, – сказал Тедди.

– Ну, последний вопрос, – настаивал Никольсон. – Педагогика – это, так сказать, мое кровное дело. Я ведь преподаю. Поэтому и спрашиваю.

– М-м-м... даже не знаю, что бы я сделал, – сказал Тедди. – Знаю только, что я не стал бы начинать с того, с чего обычно начинают в школах.

Он скрестил руки и призадумался.

– Пожалуй, я прежде всего собрал бы всех детей и обучил их медитации. Я постарался бы научить их разбираться в том, кто они такие, а не просто знать, как их зовут и так далее... Но сначала я бы, наверно, помог им избавиться от всего, что внушили им родители и все вокруг. Даже если родители успели внушить им только, что СЛОН БОЛЬШОЙ, я бы заставил их и это забыть. Ведь слон большой только рядом с кем-то – например, с собакой или с женщиной.

Тедди остановился и подумал.

– Я бы даже не стал им говорить, что у слона есть хобот. Просто покажу им слона, если тот окажется под рукой, и пусть они подойдут к слону, зная о нем не больше того, что слон знает о них. То же самое с травой и всем остальным. Я б даже не стал им говорить, что трава зеленая. Цвет – это всего лишь название. Сказать им, что трава зеленая, – значит подготовить их к тому, что она непременно такая, какой *вы* ее видите, и никакая другая. Но ведь *их* трава может оказаться ничуть не хуже вашей, может быть, куда лучше... Не знаю. Я бы сделал так, чтобы их стошнило этим яблоком, каждым кусочком, который они откусили по настоянию родителей и всех вокруг.

– А вы не боитесь воспитать новое поколение маленьких незнаек?

– Почему? Они будут не бо'льшими незнайками, чем, скажем, слон. Или птица. Или дерево, – возразил Тедди. – Быть кем-то, а не казаться кем-то – еще не значит, что ты незнайка.

– Нет?

– Нет! – сказал Тедди. – И потом, если им захочется все это выучить – про цвета и названия и все такое прочее, – пусть себе учат, если так хочется, только позже, когда подрастут. А *начал* бы я с ними с того, как же все-таки правильно смотреть на вещи, а не так, как смотрят все эти, которые объелись тем яблоком, понимаете?

Он подошел вплотную к Никольсону и протянул ему руку.

– А сейчас мне пора. Честное слово. Рад был...

– Сейчас, сейчас. Присядьте, – сказал Никольсон. – Вы не думаете заняться наукой, когда подрастете? Медициной или еще чем-нибудь? С вашим умом, мне кажется, вы могли бы...

Тедди ответил, хотя садиться не стал.

– Думал когда-то, года два назад, – сказал он. – И с докторами разными разговаривал.

Он тряхнул головой.

– Нет, что-то не хочется. Эти доктора все такие поверхностные. У них на уме одни клетки и все в таком духе.

– Вот как? Вы не придаете значение клеточной структуре?

– Придаю, конечно. Только доктора говорят о клетках так, словно они сами по себе невесть что. Словно они существуют отдельно от человека.

Тедди откинул рукой волосы со лба.

– Свое тело я вырастил сам, – сказал он. – Никто за меня этого не сделал. А раз так, значит, я должен был знать, *как* его растить. По крайней мере, бессознательно. Может быть, за последние какие-нибудь сотни тысяч лет я разучился *осознавать*, как это делается, но ведь само-то знание существует, потому что как бы иначе я им воспользовался... Надо очень долго заниматься медитацией и полностью очиститься, чтобы все вернуть, – я говорю о сознательном понимании, – но при желании это осуществимо. Надо только раскрыться пошире.

Он вдруг нагнулся и схватил правую руку Никольсона с подлокотника. Сердечно встряхнул ее и сказал:

– Прощайте. Мне пора.

И он так быстро пошел по проходу, что на этот раз Никольсону не удалось его задержать.

Несколько минут после его ухода Никольсон сидел неподвижно, опершись на подлокотники и все еще держа незажженную сигарету в левой руке. Наконец он поднял правую руку, словно не был уверен, что у него действительно расстегнут ворот рубашки. Затем он прикурил сигарету и снова закурил.

Он докурил сигарету до конца, резким движением опустил ногу на пол, затоптал сигарету, поднялся и торопливо пошел по проходу.

По трапу в носовой части он поспешно спустился на прогулочную палубу. Не задерживаясь, он устремился дальше вниз, все так же быстро, на главную палубу. Затем на палубу А. Затем на палубу В. На палубу С. На палубу D.

Здесь трап кончился, и какое-то мгновение Никольсон стоял в растерянности, не зная, как ему быть дальше. Но тут он увидел того, кто мог указать ему дорогу. Посреди перехода, неподалеку от камбуза, сидела на стуле стюардесса; она курила и читала журнал. Никольсон подошел к ней, коротко спросил о чем-то, поблагодарил, затем прошел еще несколько метров в сторону носовой части и толкнул тяжелую, окованную железом дверь, на которой было написано: К БАС-СЕЙНУ. За дверью оказался узкий трап, без всякой дорожки.

Он уже почти спустился с трапа, как вдруг услышал долгий пронзительный крик, — так могла кричать только маленькая девочка. Он все звучал и звучал, будто метался меж кафельных стен.